



ГЕРМАН

ГЕССЕ

НАРЦИСС И ЗЛАТОУСТ

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Эксклюзивная классика (АСТ)

Герман Гессе
Нарцисс и Златоуст

«АСТ»

1930

УДК 821.112.2-3
ББК 84(4Гем)-44

Гессе Г.

Нарцисс и Златоуст / Г. Гессе — «АСТ»,
1930 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-095605-0

«Нарцисс и Златоуст» – философская повесть, которую наряду с «Петером Каменциндом» принято считать ключевой для творческого становления Гессе. Стилизованная под авантюрный роман позднего Средневековья история двух гениальных друзей-послушников из уединенного германского монастыря, идущих к духовному просветлению и совершенству в искусстве различными путями. Увлекательное и мудрое произведение, которое по-прежнему не утратило философской актуальности и все еще восхищает читателей тонкой изысканностью.

УДК 821.112.2-3
ББК 84(4Гем)-44

ISBN 978-5-17-095605-0

© Гессе Г., 1930
© АСТ, 1930

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	13
Глава 3	19
Глава 4	25
Глава 5	33
Глава 6	40
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Герман Гессе

Нарцисс и Златоуст

© Hermann Hesse, 1930

© Перевод. В. Д. Седелник, 2015

© Издание на русском языке AST Publishers, 2017

Глава 1

Перед полукруглой аркой входа в монастырь Мариабронн, покоящейся на небольших сдвоенных колоннах, у самой дороги стоял каштан, одинокий сын юга, когда-то занесенный сюда римским паломником, благородный каштан с могучим стволом; мягко склонялась над дорогой его круглая крона, полной грудью дышала на ветру; весной, когда все вокруг уже зеленело и даже монастырский орешник покрывался красноватой молодой листвой, каштан не торопился раскрывать почки, позже, в пору самых коротких ночей, он вдруг выбрасывал вверх из пучков листвы бледные зеленовато-белые лучики своих необычных соцветий с таким призывным, удушливо терпким запахом, а в октябре, после сбора фруктов и винограда, из желтеющей кроны падали под порывами ветра на землю колючие плоды, которые созревали не каждый год; из-за них устраивали потасовки монастырские мальчишки, а помощник настоятеля Грегор, родом из Италии, жарил их на каминном огне в своей келье. Непривычно ласково шелестела над входом в монастырь Мариабронн крона красавца каштана, деликатного, немного зябнувшего гостя из других краев, связанного тайным родством со стройными, вырубленными из песчаника сдвоенными колоннами портала и каменными украшениями сводчатых окон, карнизов и пилястров, любимца итальянцев и латинян и чужака в глазах местных жителей.

Не одно поколение монастырских воспитанников прошло под кроной чужестранного дерева, держа под мышкой грифельные доски, болтая, смеясь, играя, препираясь, босиком или в башмаках, смотря по времени года, с цветком в губах, орехом за щекой или снежком в руке. Приходили новенькие, каждые несколько лет появлялись другие ученики, в большинстве своем похожие друг на друга: белокурые и курчавые. Иные оставались в монастыре, становились послушниками, становились монахами, принимали постриг, надевали рясу и подпоясывались шнурком, читали книги, обучали мальчишек, старели, умирали. Другие, закончив учебу, разъезжались с родителями по домам, в рыцарские замки, в дома купцов и ремесленников, разбредались по миру и занимались своими играми и промыслами, став взрослыми мужчинами, хотя бы разок навещались в монастырь, приводили в обучение к монастырским отцам своих сыновей, задумчиво улыбаясь, ненадолго вздымали глаза к кроне каштана и снова исчезали. В кельях и залах монастыря между круглыми массивными сводами окон и стройными сдвоенными колоннами из красного камня жили, учились, постигали науки, распоряжались, управляли; здесь из поколения в поколение развивали всякого рода искусства и науки, религиозные и светские, светлые и темные. Здесь писали и комментировали книги, изобретали системы, собирали сочинения древних, иллюстрировали рукописи, укрепляли в народе веру и над этой же верой посмеивались. Ученость и благочестивое смирение, наивность и лукавство, мудрость евангелий и мудрость греков, белая и черная магия – все здесь понемногу расцветало, всему находилось место; место находилось как для отшельничества и покаяния, так и для общительности и удовольствий; от личности настоятеля и господствующего течения времени всякий раз зависело, что получало перевес и преобладание. Иногда монастырь славился и посещался благодаря своим заклинателям дьявола и знатокам демонов, иногда благодаря святому отцу, исцелявшему болезни и творившему чудеса, иногда благодаря своей шучьей ухе и паштетам из оленьей печени, для всего приходило время. И всегда среди множества монахов и учеников, ревностных и безразличных, соблюдающих пост и предающихся чревоугодию, среди многих, что приходили, жили и умирали в монастыре, находился кто-нибудь особенный, не похожий на других, кого все любили или боялись, кто казался избранным, о ком еще долго говорили, забыв о тех, кто жил в одно с ним время.

Вот и сейчас в монастыре Мариабронн было двое таких особенных, не похожих на других, старец и юноша. Среди многочисленной братии, заполнявшей спальни, церкви и классные комнаты, было двое, которых знали все, на которых все обращали внимание. То были настоятель Даниил, старец, и воспитанник Нарцисс, юноша, который только недавно стал послушником, но благодаря своему особому дарованию уже использовался, против обыкновения, как преподаватель, особенно в греческом. Обоих, настоятеля и послушника, ценили и уважали в монастыре, с них не спускали глаз, они возбуждали любопытство, вызывали восхищение и зависть, по их поводу втайне злословили.

Настоятеля любило большинство, у него не было врагов, он был преисполнен доброты, простоты и смирения. Только монастырские ученые примешивали к своей любви малую толику снисходительности, ибо настоятель Даниил мог быть святым, но ученым он не был. Ему была присуща та простота, которая сродни мудрости; но его познания в латыни были скромны, а греческого он вообще не знал.

Те немногие, что при случае посмеивались над простотой настоятеля, были тем более очарованы Нарциссом, этим вундеркиндом, который говорил на изысканном греческом языке, этим прекрасным юношей с рыцарски безукоризненными манерами, спокойным пронизательным взглядом мыслителя и тонкими, красиво и строго очерченными губами. За то, что он превосходно знал греческий, его любили ученые. За благородство и изящество он был любим почти всеми, многие были в него просто влюблены. Но его спокойствие, выдержка и отменные манеры кое-кому были не по душе.

Настоятель и послушник, каждый по-своему, несли свой удел избранности, по-своему властвовали, по-своему страдали. Каждый из них чувствовал, что близок и симпатичен другому больше, чем всей остальной монастырской братии; и все же они не тянулись друг к другу, все же между ними не было доверительности. Настоятель относился к юноше с величайшей заботливостью, с величайшим вниманием, пекся о нем, как об избранном, нежном, быть может, слишком рано созревшем, быть может, подверженном опасностям брате. Юноша принимал каждое приказание, каждый совет и каждую похвалу настоятеля с абсолютным самообладанием, никогда не пререкался, никогда не выражал недовольства, и если настоятель не ошибался, полагая единственным его пороком высокомерие, то он великолепно умел этот порок скрывать. Его не в чем было упрекнуть, он был само совершенство, он превосходил всех. Жаль только, что лишь немногие, кроме ученых, становились его настоящими друзьями, что своей утонченностью он был окутан, как остужающим воздухом.

– Нарцисс, – однажды после исповеди сказал ему настоятель, – я виноват в том, что слишком строго судил о тебе. Я часто считал тебя высокомерным и, может статься, был к тебе несправедлив. Ты совсем один, мой юный брат, ты одинок, у тебя есть поклонники, но нет друзей. Иногда мне хотелось пожурить тебя, но ты не давал для этого повода. Иногда мне хотелось, чтобы ты совершил какую-нибудь шалость, как это нередко случается с молодыми людьми твоего возраста. Но ты никогда не шалил. Временами я немного тревожусь за тебя, Нарцисс.

Юноша поднял на старика свои темные глаза.

– Я вовсе не хочу причинять вам беспокойство, отец мой. Может быть, я действительно заносчив. Прошу вас наказать меня за это. Отправьте меня в пустынь или велите исполнять самые тяжелые работы.

– Ты еще слишком молод для того и другого, дорогой брат, – возразил настоятель. – Вдобавок у тебя большие способности к языкам и медитации, сын мой. Возложи я на тебя тяжелые работы, это было бы расточительством дарований, данных тебе от Бога. Вероятно, ты станешь учителем или ученым. Разве тебе самому не хочется этого?

– Простите, отец мой, мне еще точно не известны мои желания. Я всегда с радостью буду заниматься науками, разве может быть по-другому? Но я не думаю, что наука станет

моим единственным поприщем. Не всегда ведь судьбу и призвание человека определяют его желания, есть и нечто иное, предопределенное.

Настоятель выслушал и помрачнел. И все же, когда он заговорил, на его старом лице появилась улыбка.

– Насколько я знаю людей, все мы, особенно в молодые годы, в какой-то мере склонны путать провидение и собственные мечты. Но раз уж ты полагаешь, что наперед знаешь о своем предназначении, расскажи мне о нем. В чем, по-твоему, твое призвание?

Нарцисс полузакрыв свои темные глаза, и они совсем спрятались за длинными черными ресницами. Он молчал.

– Говори, сын мой, – после затянувшейся паузы напомнил настоятель.

Не поднимая глаз, Нарцисс тихо заговорил:

– Мне кажется, я знаю, что прежде всего я предназначен для монастырской жизни. Мне кажется, я стану монахом, священником, помощником настоятеля и, может быть, настоятелем. Я не стремлюсь к должностям, но на меня будут их возлагать.

Оба долго молчали.

– Откуда у тебя эта вера? – поколебавшись, спросил старик. – Какие свойства в тебе, кроме учености, внушают тебе эту веру?

– Это свойство, – медленно проговорил Нарцисс, – способность чувствовать сущность и предназначение, не только мои собственные, но и других людей. Это свойство вынуждает меня служить другим, повелевая ими. Не будь я рожден для монастырской жизни, я бы стал судьей или государственным деятелем.

– Может быть, – кивнул настоятель. – Ты уже испытал на примерах свою способность постигать людей и их судьбы?

– Да, испытал.

– Ты готов привести хотя бы один пример?

– Готов.

– Хорошо. Поскольку мне не хотелось бы без ведома наших братьев вторгаться в их тайны, может быть, ты скажешь, что тебе известно обо мне, настоятеле Данииле?

Нарцисс поднял голову и посмотрел настоятелю в глаза.

– Это ваше приказание, отец мой?

– Да, приказание.

– Мне трудно говорить, отец.

– И мне нелегко заставлять тебя говорить, мой юный брат. И все же я это делаю. Говори!

Нарцисс опустил голову и шепотом произнес:

– Я знаю о вас немного, благочестивый отец. Я знаю, что вы слугитель Господа и что вы с большей охотой пасли бы коз или в ските слушали перезвон колокольчика и принимали исповедь у крестьян, а не управляли большим монастырем. Я знаю, что особенную любовь вы питаете к Божьей Матери и чаще всего молитесь ей. Иногда вы молитесь о том, чтобы греческие и прочие науки, которыми занимаются в этом монастыре, не внесли опасной сумятицы в души вашей паствы. Иногда вы молитесь, чтобы вас не оставило терпение в отношениях с вашим помощником Грегором. Иногда просите послать вам легкую смерть. И вы, я думаю, будете услышаны, вас ждет легкая кончина.

В маленькой приемной настоятеля стало тихо. Наконец старик заговорил.

– Ты склонен к мечтательности, и у тебя бывают видения, – дружелюбно сказал он. – Благочестивые и приятные видения тоже могут ввести в заблуждение; не полагайся на них, как и я на них не полагаюсь... Ты видишь, мой мечтательный брат, что я думаю об этих вещах в сердце своем?

– Я вижу, отец мой, что вы относитесь к ним с большой доброжелательностью. Вы думаете: «Этот юный ученик немного нездоров, у него бывают видения, быть может, он

слишком много времени уделяет медитации. Я мог бы наложить на него покаяние, оно ему не повредит. Но епитимью, которую я наложу на него, мне надобно взять и на себя». Вот что вы только что подумали.

Настоятель поднялся. С улыбкой он показал послушнику, что пора прощаться.

– Ладно, – сказал он, – не принимай своих видений чересчур всерьез, мой юный брат; Господь требует от нас не видений, а кое-чего иного. Предположим, ты польстил старику, пообещав ему легкую смерть. Предположим, старик какое-то мгновение с удовольствием внимал твоему обещанию. Но хватит об этом. Прочти все молитвы Розария, завтра же после утренней мессы, прочти не поверхностно, а со смирением и самоотречением, я сделаю то же самое. А теперь иди, Нарцисс, довольно разговоров.

В другой раз настоятелю Даниилу пришлось улаживать спор между самым молодым из наставников и Нарциссом, которые не смогли договориться об одном пункте учебного плана: Нарцисс с большой горячностью настаивал на том, чтобы ввести в преподавание кое-какие новшества, и убедительно обосновывал необходимость такого шага; однако отец Лоренц, из своего рода ревности, не хотел на это идти, и за каждым новым обсуждением следовали дни раздраженного молчания и взаимной обиды, пока Нарцисс, чувствуя свою правоту, не начинал разговор снова. Наконец патер Лоренц не без обиды в голосе сказал:

– Ладно, Нарцисс, пора положить конец нашему спору. Ты ведь знаешь, что решение должен принимать я, а не ты, ты мой помощник, а не коллега и обязан мне подчиняться. Но поскольку дело кажется тебе столь важным и поскольку я превосхожу тебя в должности, но не в знаниях и таланте, мне не хочется принимать решение самому, давай лучше доложим отцу настоятелю, пусть решает он.

Так они и сделали, и настоятель Даниил терпеливо и любезно выслушал мнения обоих ученых о преподавании грамматики. После того как они подробно изложили и обосновали свои соображения, старик весело взглянул на них, слегка покачал седой головой и сказал:

– Дорогие братья, вы ведь и сами не верите, что я разбираюсь в этих вещах столь же хорошо, как и вы. Похвально, что Нарцисс принимает школьные дела так близко к сердцу и стремится усовершенствовать учебный план. Но если его начальник придерживается иного мнения, Нарциссу следует умолкнуть и подчиниться, ибо все улучшения учебного плана не стоят того, чтобы ради них нарушались порядок и дисциплина в этом доме. Я порицаю Нарцисса за то, что он не сумел уступить. А вам обоим, молодым ученым, я желаю, чтобы у вас никогда не было недостатка в предстоятелях, которые глупее вас; лучшего средства от заносчивости не бывает.

С этой добродушной шуткой он отпустил их. Но в последующие дни он не забывал присмотреть за тем, чтобы между обоими наставниками установилось доброе взаимопонимание.

И вот случилось так, что в монастыре, видевшем столько лиц, которые приходили и уходили, появилось новое лицо, и это новое лицо не относилось к числу тех, что остаются незамеченными и скоро забываются. Это был юноша, уже давно записанный отцом в число воспитанников; в один из весенних дней он приехал, чтобы учиться в монастырской школе. Они, юноша и его отец, привязали своих лошадей к каштану, из портала навстречу им вышел привратник.

Отрок поднял глаза на голую после зимы крону.

– Такого дерева я еще не видел. Прекрасное, удивительное дерево! Хотел бы я знать, как оно называется.

Отец, пожилой господин с озабоченным лицом, на котором застыла хитровая усмешка, не обратил внимания на слова юноши. Однако привратник, которому мальчик

сразу пришелся по нраву, ответил на его вопрос. Отрок любезно поблагодарил его, подал руку и сказал:

– Меня зовут Златоуст, здесь я буду учиться в школе.

Привратник дружелюбно улыбнулся ему и пошел впереди вновь прибывших через портал и дальше, вверх по широким каменным ступеням, и Златоуст вступил в монастырь без колебаний, с чувством, что здесь он уже встретил двух существ, с которыми мог бы подружиться, – дерево и привратника.

Прибывших принял сначала патер, ведавший делами школы, а к вечеру и сам настоятель. В обоих случаях отец, имперский чиновник, представил своего сына, и его пригласили погостить некоторое время в монастыре. Однако он воспользовался гостеприимством только на одну ночь, объявив, что на следующий день должен уехать. В качестве дара он предложил монастырю одну из своих лошадей, и этот дар был принят. Беседа с духовными лицами была вежливой и холодной; но и настоятель, и патер с радостью поглядывали на почтительно молчавшего Златоуста, красивый и ласковый юноша им тотчас понравился. На следующий день они без сожалений расстались с отцом, сына же с удовольствием оставили у себя. Златоуста представили наставникам, он получил койку в спальне для воспитанников. Почтительно и опечаленно простился он со своим отъезжающим отцом, стоял и смотрел ему вслед, пока тот не проехал между амбаром и мельницей и не скрылся за узкими сводчатыми воротами внешнего монастырского двора. Когда он обернулся, на его длинных светлых ресницах повисла слеза; но к нему уже подошел привратник и ласково похлопал его по плечу.

– Не печалься, барчук, – сказал он, утешая Златоуста. – Поначалу почти все немножко тоскуют по родине, по отцу с матерью, по братьям и сестрам. Но ты скоро увидишь: здесь тоже можно жить, и очень даже неплохо.

– Благодарю, брат привратник, – сказал юноша. – У меня нет ни матери, ни братьев и сестер, у меня есть только отец.

– Зато ты найдешь здесь товарищей, и ученость, и музыку, и новые игры, пока еще тебе неведомые, и многое другое, вот увидишь. А если у тебя появится нужда в человеке, который хорошо к тебе относится, тогда приходи ко мне.

Златоуст улыбнулся ему.

– О я очень вам благодарен. Если вы хотите доставить мне удовольствие, покажите мне, пожалуйста, скорее, где стоит наша лошадка, которую оставил здесь мой отец. Я хотел бы поприветствовать ее и взглянуть, хорошо ли ей живется.

Привратник тут же повел его в конюшню рядом с амбаром. Там в тепловатом полумраке стоял острый запах лошадей, навоза и ячменя, и в одном из стойл Златоуст нашел гнедого, который на своей спине доставил его сюда. Он обнял животное, которое узнало его и вытянуло к нему голову, обеими руками за шею и прижался щекой к широкому лбу с белой звездочкой, ласково погладил его и прошептал на ухо:

– Здравствуй, Звездочка, славная моя лошадка, как поживаешь? Ты еще любишь меня? У тебя довольно еды? Вспоминаешь ли ты о родном доме? Звездочка, лошадка моя, как хорошо, что ты осталась здесь, я буду часто приходить к тебе и присматривать за тобой.

Он вытащил из-за отворота рукава ломоть хлеба, оставшийся от завтрака и припасенный им впрок, и, отламывая по кусочку, скормил лошади. Затем распрощался и вслед за привратником прошел во двор, широкий, как рыночная площадь большого города, и частично заросший липами. У входа во внутренний двор он поблагодарил привратника и пожал ему руку, но обнаружил, что уже не помнит дорогу в свой класс, негромко засмеялся, покраснел и попросил привратника проводить его туда, что тот с удовольствием и сделал. Когда он вошел в классную комнату, в которой на скамьях сидела дюжина мальчиков и юношей, помощник учителя Нарцисс повернул к нему голову.

– Я Златоуст, – сказал мальчик, – новый ученик.

Нарцисс поздоровался, не улыбнувшись, указал ему место на задней скамейке и сразу же продолжил занятие.

Златоуст сел. Он удивился, встретив столь юного учителя, лишь на несколько лет старше его самого, удивился и очень обрадовался тому, что этот молодой учитель оказался таким красивым, благородным и серьезным и при этом таким привлекательным и достойным любви. Привратник был с ним ласков, настоятель встретил его очень любезно, в стойле стояла Звездочка, которая была частичкой родины, а тут еще этот удивительно молодой учитель, серьезный, как учитель, и благородный, как принц, да еще с таким спокойным, строгим, деловым и не терпящим возражений голосом! Исполненный признательности, он стал слушать, еще не совсем понимая, о чем идет речь. У него было хорошо на душе. Он попал к добрым, достойным людям и был готов любить их и добиваться их дружбы. Утром в постели, едва проснувшись, он чувствовал себя подавленным, да и усталость от долгого путешествия еще не прошла, а прощаясь с отцом, он даже немного всплакнул. Но сейчас ему было хорошо, он был доволен. Снова и снова он подолгу задерживался взглядом на молодом учителе, любовался его подтянутой фигурой, его холодно сверкающими глазами, его строгими губами, четко и ясно произносившими слова, его вдохновенным, не знающим усталости голосом.

Но когда урок закончился и ученики с шумом поднялись со своих мест, Златоуст испуганно вздрогнул и с некоторым смущением заметил, что он на какое-то время задремал. И не только он один заметил, это увидели и его соседи по скамейке и шепотом передали дальше. Едва молодой учитель вышел из классной комнаты, как товарищи принялись дергать и толкать Златоуста со всех сторон.

– Выспался? – спросил один из них и ухмыльнулся.

– Ну и школяр! – с насмешкой крикнул другой. – Из него выйдет отличное церковное светило. На первом же уроке уснул как сурок!

– Отнесем малыша в постельку, – предложил кто-то, и они со смехом схватили его за руки и ноги, чтобы вынести из класса.

Рассердившись, Златоуст попытался вырваться, он наносил удары направо и налево, получал тычки, его бросили на пол, кто-то еще держал его за ногу. Он рывком освободился, бросился на первого встречного, оказавшегося на его пути, и тотчас же затеял с ним отчаянную потасовку. Его противник был сильный парень, и все с любопытством взирали на поединок. Когда же Златоуст не поддался и угостил сильного соперника парочкой изрядных ударов кулаком, у него среди товарищей уже появились и друзья, хотя ни одного из них он еще не знал по имени. Вдруг все поспешно бросились в разные стороны, и едва успели выбежать из класса, как появился отец Мартин, заведующий школой, и остановился перед оставшимся в одиночестве мальчиком. Он с удивлением смотрел на отрока, в голубых глазах которого на раскрасневшемся и слегка побитом лице застыло смущение.

– Ну, что это с тобой? – спросил он. – Ты ведь Златоуст, не так ли? Они тебя чем-нибудь обидели, эти шалопаи?

– О нет, я с ними справился.

– С кем это?

– Не знаю. Я еще ни с кем не знаком. Один из них дрался со мной.

– Вот как? Начал он?

– Я не знаю. Нет, мне кажется, начал я сам. Они меня дразнили, и я разозлился.

– Что ж, хорошенькое начало, мой мальчик. Заруби себе на носу: если ты еще раз устроишь потасовку здесь, в классной комнате, будешь наказан. А сейчас отправляйся на полдник, да побыстрее!

Отец Мартин с улыбкой наблюдал, как пристыженный Златоуст убежал, пытаясь на ходу пригладить ладонью растрепанные белокурые волосы.

Златоуст и сам считал, что его первое деяние в этой монастырской жизни было довольно нелепым и безрассудным; немного подавленный, он нашел своих товарищей за полдником. Его встретили уважительно и дружелюбно, он по-рыцарски примирился со своим недругом и с этой минуты почувствовал себя среди них своим.

Глава 2

Хотя с той поры он сошелся со всеми, но настоящего друга нашел не скоро; среди его школьных товарищей не было никого, к кому он чувствовал бы душевную близость или особую симпатию. Но они удивились, найдя в ловком кулачном бойце, которого они склонны были считать славным забиякой, очень миролюбивого коллегу, который, похоже, больше стремился к тому, чтобы снискать славу примерного ученика.

В монастыре было два человека, к которым Златоуст питал сердечную привязанность, которые ему нравились и занимали его мысли, которыми он восхищался, которых любил и почитал: настоятель Даниил и младший учитель Нарцисс. Настоятеля он склонен был считать святым, его простота и добросердечие, его ясный, заботливый взор, его манера распорядиться и управлять со смирением и самоотдачей, его добрые, спокойные жесты – все это влекло Златоуста неодолимо. Он бы с радостью стал слугой благочестивого старца, чтобы всегда быть рядом, повинувшись и служа ему, не задумываясь принеся бы ему в жертву всю свою отроческую жажду преданности и самоотречения и научился бы у него чистой и исполненной святости жизни. Ибо Златоуст замыслил не только закончить монастырскую школу, но и, если представится возможность, навсегда остаться в монастыре и посвятить свою жизнь Богу; такова была его воля, таковы были желание и требование его отца, и, по видимому, так было предназначено самим Богом. Никто бы этого не сказал, глядя на красивого, сияющего отрока, и все же его угнетало какое-то бремя, бремя происхождения, тайное предназначение к покаянию и жертве. Настоятель тоже не заметил этого, хотя отец Златоуста на что-то намекал и ясно дал понять, что хотел бы видеть сына навсегда оставшимся в монастыре. Казалось, с рождением Златоуста связан какой-то тайный порок, нечто сокрытое, казалось, требовало искупления. Но отец настоятелю не очень понравился, на его слова и на все его несколько надменное поведение он ответил холодной вежливостью и не придавал его намекам особого значения.

Другой же, вызвавший любовь Златоуста, был прозорливее и догадывался о большем, но вел себя сдержанно. Нарцисс-то уж наверняка заметил, какая удивительная чудо-птица залетела к ним. Он, столь одинокий в своем благородстве, вскоре почувствовал в Златоусте родственную душу, хотя во всем тот казался его противоположностью. Нарцисс был темен лицом и сухошав, Златоуст весь светился и цвел. Нарцисс был мыслителем и аналитиком, Златоуст казался мечтателем с душой ребенка. Но противоположности перекрывало то, что их объединяло: оба были людьми благородными, оба отличались от других очевидными дарованиями и обоим судьба отметила особой печатью.

Нарцисс чувствовал глубокую симпатию к этой юной душе, склад и судьбу которой он скоро прозрел. Златоуст горячо восхищался своим прекрасным, необыкновенно умным учителем. Но Златоуст был робок; он хотел завоевать расположение Нарцисса только тем, что до изнеможения старался быть внимательным и прилежным учеником. Но не только робость сдерживала его. Сдерживало его и чувство опасности, исходившей от Нарцисса. Идеалом и примером для него не могли быть добрый, смиренный настоятель и одновременно чрезвычайно умный, ученый, отмеченный острым интеллектом Нарцисс. И однако же, всеми силами своей юной души он тянулся к обоим идеалам, таким несоединимым. Нередко это заставляло его страдать. Иногда, в первые месяцы учебы в монастырской школе, Златоуст чувствовал в сердце своем такое смятение и такую раздвоенность, что едва не поддавался соблазну убежать из монастыря или излить свой гнев и свою беду в общении с товарищами. Часто в нем, добродушном, в ответ на невинные поддразнивания и подначки вспыхивала такая дикая злоба, что он лишь огромным напряжением сил сдерживал себя и молча отворачивался, закрыв глаза и покрывшись смертельной бледностью. Тогда он шел на конюшню к

своей Звездочке, прижимался головой к шее лошади, целовал ее и выплакивал свою печаль. Постепенно страдания его усиливались, их стали замечать. Щеки его впали, взгляд потух, редкой стала такая любимая всеми улыбка.

Он и сам не понимал, что с ним происходит. Он честно хотел быть хорошим учеником, как можно скорее стать послушником, а затем смиренным, незаметным братом монахов; он верил, что все его силы и дарования стремятся к этой благочестивой и скромной цели, других желаний у него не было. И с каким же удивлением и печалью ему пришлось убедиться, как труднодостижима эта прекрасная цель. Временами он обескураженно и отчужденно замечал в себе достойные порицания наклонности и состояния: рассеянность и отвращение к учебе, привычку мечтать и фантазировать или дремать на лекциях, недовольство учителем латыни и антипатию к нему, раздражительность и гневливую нетерпимость в отношениях со школьными товарищами. Но более всего сбивало с толку то, что его любовь к Нарциссу никак не вязалась с любовью к настоятелю Даниилу. При этом иногда он, казалось, был глубоко уверен, что и Нарцисс его любит, желает ему добра и ждет его.

Мысли Нарцисса были заняты мальчиком значительно больше, чем тому казалось. Он хотел видеть в этом красивом, светлом и милом отроке своего друга, смутно чувствовал в нем свою противоположность и дополнение себе, ему хотелось приблизить его, наставлять, просвещать, рачительно взращивать и довести до расцвета. Но он сдерживал себя. Он поступал так по многим причинам, и почти все они были осознанными. В первую очередь его сковывало и сдерживало отвращение, которые он испытывал к тем нередко встречающимся наставникам и монахам, которые влюблялись в учеников или послушников. Он и сам довольно часто с брезгливостью ощущал на себе похотливые взгляды пожилых мужчин, довольно часто ему приходилось с молчаливым упорством отвергать их любезности и ласки. Теперь он лучше понимал их – и его влекло к красивому Златоусту, хотелось вызвать его милую улыбку, нежно погладить рукой по волосам. Но он никогда не сделает этого, никогда. Кроме того, как ассистент, бывший в ранге учителя, но не имевший ни его должности, ни авторитета, он привык вести себя с особой осторожностью и бдительностью. С теми, кто был лишь на несколько лет младше его, он вел себя так, будто был старше их лет на двадцать, он строго запретил себе отдавать предпочтение кому бы то ни было из учеников и заставлял себя относиться к каждому неприятному ему воспитаннику подчеркнуто справедливо и заботливо. Его служба была служением духу, ему он посвятил свою строгую жизнь, и только тайно, в минуты полной расслабленности, он позволял себе радость высокомерия, наслаждение своими занятиями и своим умом. Нет, какой бы соблазнительной ни казалась ему дружба с Златоустом, в ней таилась опасность, и она не должна была затрагивать сути его жизни. Сутью и смыслом его жизни было служение духу, служение слову, спокойное, уверенное; лишенное своекорыстия наставление своих – и не только своих – учеников в их продвижении к высоким духовным целям.

Уже больше года Златоуст был учеником монастырской школы в Мариабронне, сотни раз играл он во дворе под липами и под прекрасным каштаном с товарищами в школьные игры – бегал наперегонки, играл в мяч, в разбойников, в снежки; наступила весна, но Златоуст чувствовал себя усталым и болезненным, у него часто болела голова, на занятиях он с трудом заставлял себя быть бодрым и внимательным.

Однажды вечером к нему обратился Адольф, тот самый ученик, первая встреча с которым обернулась тогда дракой и который этой зимой начал изучать с ним Евклида. Случилось это после ужина, в свободный час, когда разрешалось играть в спальнях, болтать в школьных комнатах и гулять во внешнем монастырском дворе.

– Златоуст, – сказал Адольф, увлекая его с собой вниз по лестнице, – я хочу тебе что-то сказать, нечто забавное. Но ведь ты пай-мальчик и наверняка мечтаешь стать когда-нибудь

епископом – дай мне сперва слово, что ты не нарушишь законов товарищества и не выдашь меня учителям.

Златоуст не раздумывая дал слово. Существовало понятие монастырской чести и понятие чести ученической, и временами оба эти понятия входили в противоречие, он знал об этом. Но, как и повсюду, неписанные законы были сильнее писанных, и, пока он оставался учеником, ему бы и в голову не пришло нарушить школьные законы и понятия о чести.

Адольф тащил его к portalу под деревьями. Есть несколько хороших и смелых товарищей, шепотом рассказывал он, причисляя к ним и самого себя, которые переняли от предыдущих поколений обычай время от времени вспоминать, что они ведь не монахи, и на вечерок убегать из монастыря в деревню. Это веселое приключение, настоящий парень от него не откажется, а ночью они вернутся обратно.

– Но ворота уже будут заперты, – возразил Златоуст.

– Разумеется, их закроют, в том-то и забава. Но тайными путями можно незаметно войти в монастырь, им такое уже не впервой.

Златоуст припомнил, что уже слышал выражение «сходить в деревню». Оно означало ночные вылазки школяров в поисках всевозможных тайных удовольствий и приключений, монастырский закон запрещал их под угрозой строгого наказания. Он испугался. Поход «в деревню» был грехом, запретным деянием. Но он хорошо понимал, что именно поэтому среди «настоящих парней» почиталось за честь пренебречь опасностью и что приглашение участвовать в этом приключении означало определенное отличие.

Лучше всего было бы сказать «нет», убежать к себе и лечь спать. Он очень устал и чувствовал себя отвратительно, все послеобеденное время у него болела голова. Но он немного стеснялся Адольфа. И кто знает, может быть, там, за стенами монастыря, во время вылазки его ждало нечто прекрасное и новое, нечто такое, что поможет забыть головную боль и тупость и прочие несчастья. Это была вылазка в мир, правда, тайная и запретная, за которую вряд ли похвалят, но, может быть, она несла в себе освобождение и новый душевный опыт. Он стоял в нерешительности, пока Адольф уговаривал его, а потом вдруг рассмеялся и согласился.

Незаметно затерялся он вместе с Адольфом под липами в широком темном дворе, внешние ворота которого к этому часу уже были закрыты. Товарищ провел его в монастырскую мельницу, где в полумраке, под несмолкающий шум колес легко было незаметно ускользнуть. В полной темноте они выбрались через окно на влажный скользкий штабель деревянных брусков, один из которых надо было вытащить и перекинуть через ручей для переправы. И вот они уже вне монастыря, на тускло поблескивающем тракте, теряющемся в лесу. Все это было волнующим, таинственным и очень понравилось мальчику.

На опушке леса стоял еще один ученик, Конрад, а после долгого ожидания к ним присоединился, тяжело шагая, и верзила Эберхард. Юноши вчетвером шли по лесу, над ними с шумом взлетали ночные птицы, несколько влажно-светлых звезд показалось в разрывах спокойных облаков. Конрад болтал и шутил, иногда и остальные смеялись вместе с ним, но все же над ними витало жутковато-торжественное ночное настроение, и сердца их бились быстрее.

Через какой-нибудь час они миновали лес и добрались до деревни. Казалось, все в ней уже погрузилось в сон, тускло поблескивали низкие фронтоны домов с проступавшими темными ребрами карнизов, повсюду царил мрак. Адольф шел впереди; молча, крадучись, обогнули они несколько домов, перелезли через забор, очутились в огороде, ощутили под ногами мягкую землю грядок, споткнулись о ступеньки и остановились перед стеной дома. Адольф постучал в ставень, подождал, постучал еще раз, внутри послышался шум, вскоре загорелся свет, ставни открылись, и один за другим они пробрались внутрь, на кухню с черным дымоходом и земляным полом. На плите стояла маленькая масляная лампа, над тонким

фитилем мигало слабое пламя. Там была девушка, сухопарая крестьянка, она пожалала пришельцам руки, за ее спиной из темноты показалась другая девушка, совсем еще дитя с длинными темными косами. Адольф принес гостинцы, полкаравая белого монастырского хлеба и что-то в бумажном свертке, Златоуст предположил, что это немного украденного ладана, свечного воска или чего-нибудь подобного. Девочка с косичками вышла, пробравшись без света за дверь, долго не появлялась и вернулась с кувшином из серой глины с нарисованным на нем голубым цветком. Кувшин она протянула Конраду. Он отпил и передал дальше, все пили, это было крепкое молодое яблочное вино.

При свете крошечной лампы они расселись, обе девушки на маленьких жестких табуретках, школяры прямо на полу вокруг них. Они разговаривали шепотом и пили яблочное вино, тон задавали Адольф и Конрад. Время от времени один из них вставал и гладил сухопарую по волосам и по затылку, нашептывая что-то на ухо, малышку никто не трогал. Вероятно, подумал Златоуст, высокая – это служанка, а маленькая – дочка хозяев дома. Вообще-то ему было все равно, это не имело к нему отношения; сюда он никогда больше не придет. То, что они тайком выбрались из монастыря и прогулялись ночью по лесу, было прекрасно, необычно, волнующе и таинственно, но все же не опасно. Правда, это запрещалось, но нарушение запрета не очень отягощало совесть. Но то, что происходило здесь, этот ночной визит к девушкам, было не только запретно, это, так он чувствовал, было греховно. Для других, вероятно, и это было всего лишь небольшой шалостью, но не для него; ему, знавшему о своем предназначении к монашеству и аскезе, играть с девушками не дозволялось. Нет, он сюда никогда больше не придет. Но сердце его билось сильнее и сжималось от робости в полутьме убогой кухоньки.

Его товарищи изображали перед девушками героев и важничали, вплетая в разговор латинские выражения. Похоже, все трое пользовались благосклонностью служанки, время от времени они осторожно и неловко ласкали ее, и самой нежной из этих ласк был робкий поцелуй. Видимо, они точно не знали, что им здесь разрешалось. И поскольку вся беседа почему-то велась шепотом, сцена выглядела немного комичной, однако Златоуст так ее не воспринимал. Примостившись на корточках, он сидел на земляном полу, смотрел не мигая на слабый огонек коптилки и не говорил ни слова. Иногда он боковым зрением с жадностью ловил нежности, которыми обменивались другие. Он смотрел прямо перед собой. Больше всего ему хотелось взглянуть на малышку с косичками, но именно это он себе и запретил. Однако всякий раз, когда усилие его воли ослабевало и взгляд как бы случайно останавливался на спокойном и нежном лице девочки, он непременно обнаруживал, что она не сводит глаз с его лица и смотрит на него как зачарованная.

Прошло, вероятно, около часа – для Златоуста никогда время не тянулось так медленно, – когда латинские словечки и нежности школяров истошились, наступила тишина, все сидели в некотором смущении, Эберхард начал зевать. Тогда служанка напомнила, что пора прощаться. Все встали и пожали девице руку, Златоуст в последнюю очередь. Потом все подали руку младшей. Златоуст последним. Первым через окно выбрался Конрад, за ним последовали Эберхард и Адольф. Когда стал вылезать и Златоуст, он почувствовал, что чья-то рука удерживает его плечо. Но он уже не мог остановиться; уже стоя на земле снаружи, он несмело обернулся. Из окна высунулась малышка с косичками.

– Златоуст! – прошептала она.

Он не двигался.

– Ты придешь еще? – Ее робкий голос прошелестел, как дуновение ветерка.

Златоуст покачал головой. Она протянула обе руки, взяла его за голову, он ощутил на своих висках тепло ее маленьких ладошек. Она низко наклонилась, так что ее темные глаза оказались совсем близко от его глаз.

– Приходи еще! – прошептала она, и ее губы прикоснулись к его губам в детском поцелуе.

Он быстро побежал по маленькому огороду следом за остальными, спотыкаясь о грядки, чувствуя запах сырой земли и навоза, расцарапал о розовый куст руку, перелез через забор, выбрался из деревни и припустил вдогонку за товарищами в сторону леса. «Никогда в жизни!» – повелевала его воля. «Нет, завтра же!» – умоляло и плакало навзрыд сердце.

Никто не встретился ночным бродягам, незамеченными вернулись они в Мариабронн – перебрались через ручей, миновали мельницу и поросший липами двор и окольными путями, по карнизам, через разделенные колоннами монастырские окна, проникли к себе в спальню.

Утром верзилу Эберхарда пришлось будить тумачами, так крепко он спал. Все четверо поспели в срок к утренней мессе, на завтрак и в аудиторию; но Златоуст выглядел столь неважно, что отец Мартин спросил, не заболел ли он. Заметив предостерегающий взгляд Адольфа, Златоуст ответил, что он здоров. Однако на уроке греческого, ближе к полудню, Нарцисс все время держал его в поле зрения. Он тоже видел, что Златоуст болен, но молчал и внимательно наблюдал за ним. В конце урока он подозвал его к себе. Чтобы не привлекать внимания воспитанников, он отослал его с поручением в библиотеку. И туда же вслед за ним отправился сам.

– Златоуст, – сказал он, – не нужна ли тебе моя помощь? Я вижу, ты попал в беду. Быть может, ты заболел? Тогда мы уложим тебя в постель и пришлем тебе больничного супу и стакан вина. Сегодня тебе было не до греческого.

Он долго ждал ответа. Бледный Златоуст растерянно посмотрел на него, опустил голову, снова поднял ее, губы его дрогнули, он хотел что-то сказать, но не мог. Вдруг он наклонился в сторону, положил голову на подставку для книг, между двумя маленькими головками ангелов, вырезанными из дуба и обрамлявшими ее, и разразился такими рыданиями, что Нарцисс смутился и на время отвел взгляд в сторону. Затем он подхватил и поднял всхлипывающего Златоуста.

– Ну-ну, – сказал он приветливее, чем обычно, – вот и ладно, друже, поплачь как следует, скоро тебе станет легче. Вот так, садись, и ни о чем не надо говорить. Я вижу, тебе невмоготу; вероятно, ты все утро крепись из последних сил, стараясь, чтобы никто ничего не заметил, у тебя это здорово получилось. А сейчас поплачь, это лучшее, что ты можешь сделать. Нет? Уже все? Ты снова в норме? Тогда пойдем в больничную палату, ты ляжешь в постель, и нынче к вечеру тебе станет значительно лучше. Пойдем же!

Он провел его, обходя школьные классы, в больничную палату, указал на одну из двух пустующих коек и, когда Златоуст послушно начал раздеваться, вышел, чтобы сообщить о его болезни руководителю школы. На кухне он, как и обещал, заказал для него суп и стакан больничного вина; оба этих *beneficia*¹, принятые в монастыре, были очень по душе тем, кому слегка нездоровилось.

Златоуст лежал на больничной койке и пытался оправиться от растерянности. Около часа тому назад он, пожалуй, и смог бы объяснить себе, что стало сегодня причиной его невыносимой усталости, какое страшное душевное напряжение замутило ему голову и довело до слез. Это было упорное, каждую минуту обновлявшееся и каждую минуту заканчивавшееся неудачей усилие забыть вчерашний вечер – даже не вечер, не глупую и восхитительную вылазку из запертого монастыря, не прогулку по лесу и не скользкую переправу через мельничный ручей, не лазание через заборы, окна и проходы, а всего лишь миг у того темного кухонного окна, дыхание и слова девочки, пожатые ее рук, прикосновение ее губ.

¹ *Благодеяния (лат.). – Здесь и далее примеч. пер.*

Но сейчас к этому добавилось нечто другое, еще одна опасность, еще одно переживание. Нарцисс обратил на него внимание. Нарцисс любил его, Нарцисс заботился о нем – этот изысканный, благородный и умный послушник с тонко очерченным, чуть насмешливым ртом. А он-то, он раскис в его присутствии, стоял перед ним пристыженный, заикающийся, а потом и зареванный! Вместо того чтобы завоевать расположение этого превосходного человека самым благородным оружием – успехами в греческом и в философии, духовным подвижничеством и мужественным стоицизмом, – он, жалкое ничтожество, опозорился перед ним! Никогда он не простит себе этого, никогда не сможет без стыда посмотреть ему в глаза.

Но слезы сняли напряжение, тихое больничное одиночество и хорошая постель оказывали благотворное действие, отчаяние лишилось своей силы более чем наполовину. Через час вошел дежурный монах, принес мучной суп, ломтик белого хлеба и небольшой бокал красного вина, которое школярам выдавали только по праздничным дням. Златоуст съел полтарелки супа, отодвинул его в сторону, пригубил бокал, снова впал в задумчивость, но это ничего не дало; он опять пододвинул к себе тарелку, проглотил еще несколько ложек. И когда чуть позже тихонько отворилась дверь и вошел Нарцисс, чтобы проведать больного, он лежал и спал, и на щеках его снова появился румянец. Долго рассматривал его Нарцисс, с любовью, с пытливым любопытством и с некоторой завистью. Он видел: Златоуст не был болен, завтра ему не понадобится больше присылать вина. Но он знал, что лед тронулся и они станут друзьями. Пусть сегодня Златоуст нуждается в нем, в его услугах. Но в другой раз слабым может оказаться он сам, и ему понадобятся помощь и любовь. И если так случится, то от этого мальчика он их примет.

Глава 3

Странная дружба стала связывать Нарцисса и Златоуста; лишь немногим она нравилась, и временами могло показаться, что они и сами ею недовольны.

Нарциссу, человеку мысли, поначалу приходилось труднее всего. Он все переводил в сферу духовности, даже любовь; ему не дано было бездумно отдаваться привязанности. В этой дружбе ему выпала роль духовного руководителя, и долгое время он один сознавал неотвратимость, меру и смысл этой дружбы. Долгое время он один переживал всю глубину чувства, понимая, что друг только тогда будет по-настоящему принадлежать ему, когда он подведет его к пониманию. Златоуст отдавался новой жизни искренне и пылко, легко и безотчетно; Нарцисс принимал высокое предназначение осознанно и ответственно.

Для Златоуста сначала это было избавлением и исцелением. В его юной душе вид и поцелуй красивой девушки только что властно пробудили желание любви и сразу же безнадежно отпугнули его. Ибо в глубине души он чувствовал, что все его прежние мечты, все, во что он верил, к чему, как ему казалось, был предназначен и призван, этим поцелуем в окне, взглядом этих темных глаз в корне своем подверглись опасности. Приготовленный отцом к монашеской жизни, всем сердцем приняв это предназначение, с юношеским пылом обратившись к благочестивому, аскетически-подвижническому идеалу, он при первой же беглой встрече, при первых зовах жизни к его чувствам, при первом приветливом женском слове неотвратимо ощутил, что именно здесь таится его враг и демон, что опасность для него заключена в женщине. И вот теперь судьба посылала ему спасение, теперь, в самый трудный час, его осенила эта дружба, предлагая его душевным устремлениям цветущий сад, а благоговению – новый алтарь. Здесь ему позволено любить, позволено без греха отдавать себя, дарить свою любовь достойному восхищения, превосходящему его летами и умом другу, превращая опасное чувственное пламя в жертвенный огонь, одухотворяя его.

Но уже в первую весну этой дружбы он столкнулся со странными препятствиями, с неожиданными, загадочными периодами охлаждения, с пугающей требовательностью. Ибо он был далек от того, чтобы воспринимать себя как антипода и противоположность своего друга. Ему казалось, достаточно одной только любви, одной только искренней преданности, чтобы превратить двоих в единое целое, чтобы сгладить различия и преодолеть противоречия. Но каким суровым и твердым, каким неумолимо строгим был этот Нарцисс! Казалось, ему неведомы и нежелательны простодушная самоотверженность и благодарные совместные странствия по стране дружбы. Казалось, он не знал и не терпел путей без цели, мечтательного кружения вокруг да около. И хотя в пору недомогания Златоуста он заботился о нем, хотя он помогал ему и давал ценные советы в учебных и научных занятиях, объяснял трудные места в книгах, учил понимать тонкости грамматики, логики, теологии, но, казалось, никогда не был по-настоящему доволен другом и согласен с ним, более того, часто он, по-видимому, посмеивался над ним и не принимал его всерьез. Златоуст, правда, чувствовал, что это не педантизм, не важничанье старшего и более умного, что за этим стоит нечто более глубокое и значительное. Но понять, что представляет собой это более глубокое, он не мог, и нередко дружба с Нарциссом повергала его в состояние печали и растерянности.

В действительности Нарцисс прекрасно понимал, что происходит с другом, он видел и его цветущую красоту, и его естественную силу, богатую палитру чувств. Он ни в коем случае не был учителем-педантом, который пичкает юную цветущую душу греческим и отвечает на невинную любовь логикой. Скорее он слишком любил белокурого отрока, и в этом для него таилась опасность; ибо любовь была для него не естественным состоянием, а чудом. Он не позволял себе влюбиться, удовлетвориться приятным созерцанием этих милых глаз, близостью этого цветущего и чистого белокурого существа, он не позволял своей любви

даже на мгновение задержаться на чувственных переживаниях. Ибо если Златоуст только видел свое предназначение к монашеству, аскезе и вечному стремлению к святости, то Нарцисс действительно был предназначен к такой жизни. Любовь была разрешена ему только в одной-единственной, высшей форме. Но в предназначение Златоуста к аскезе Нарцисс не верил. Яснее, чем кто бы то ни было, умел он читать в душах людей, а эта, столь любимая им, открывалась ему с особой ясностью. Он видел сущность Златоуста и глубоко понимал ее, несмотря на то что сам был его противоположностью; ибо она была другой, утраченной половиной его собственной сути. Он видел, что сущность эта укрыта твердым панцирем фантазий, просчетов воспитания и отцовских внушений, и давно уже прозрел всю не очень сложную тайну этой юной жизни. Он ясно понимал свою задачу: открыть эту тайну ее носителю, освободить его от панциря, возвратить ему его собственную природную сущность. Это будет нелегко сделать, и самое трудное заключается в том, что при этом он мог потерять своего друга.

Бесконечно медленно приближался он к своей цели. Прошли месяцы, прежде чем появилась возможность предпринять серьезную попытку и основательно поговорить со Златоустом. Так далеки были они друг от друга, несмотря на всю их дружбу, так натянуты были отношения между ними. Так и шли они рядом, зрячий и слепой; и то, что слепой ничего не знал о своей слепоте, лишь облегчало ему жизнь.

Первую брешь Нарцисс пробил, когда пытался разузнать о переживании, которое подтолкнуло к нему потрясенного мальчика в минуту его слабости. Разузнать это было не так трудно, как он предполагал. Златоуст давно ощущал потребность исповедаться в том, что произошло той ночью; но кроме настоятеля, не было никого, к кому он испытывал бы достаточно доверия, а настоятель не был его духовником. И вот когда однажды в благоприятную минуту Нарцисс напомнил другу о самом начале их союза и мягко коснулся тайны, тот сказал без обиняков:

– Жаль, что ты еще не рукоположен и не можешь исповедовать; с радостью снял бы я с себя этот груз на исповеди и с радостью искупил бы вину покаянием. Но своему духовнику я не могу об этом поведать.

Осторожно, словно охотник, напавший на верный след, Нарцисс продолжал расспросы.

– Ты помнишь, – начал он с оглядкой, – то утро, когда тебе показалось, что ты заболел? Ты не забыл его, ведь именно тогда мы стали друзьями. Я часто думаю о нем. Быть может, ты не обратил внимания, но я тогда был довольно беспомощен.

– Ты – и беспомощен? – недоверчиво воскликнул друг. – Напротив, беспомощным был я! Это я стоял перед тобой всхлипывая, не мог вымолвить ни слова и в конце концов разрыдался, как дитя! Да я до сих пор стыжусь этой минуты; я думал, что никогда больше не смогу показаться тебе на глаза. Ты видел меня таким жалким и слабым!

Нарцисс ощупью продвигался дальше.

– Я понимаю, – сказал он, – тебе это было неприятно. Такой крепкий и храбрый парень, как ты, – и вдруг разрыдался перед чужим человеком, да еще перед учителем, это и впрямь не вязалось с твоим обликом. Ну, тогда я посчитал, что ты и в самом деле болен. Даже Аристотель повел бы себя необычно, если бы его трясла лихорадка. Но ведь ты тогда вовсе не был болен! И лихорадка тут ни при чем! Именно этого ты стыдишься. Тому, кого лихорадит, нечего стыдиться, не так ли? Тебе было стыдно, потому что ты оказался во власти какого-то иного переживания, потому что тебя что-то потрясло. Случилось нечто особенное?

Златоуст немного поколебался, а затем медленно проговорил:

– Да, случилось нечто особенное. Позволь мне считать тебя своим духовником; когда-нибудь надо же это высказать.

Опустив голову, он поведал другу историю той ночи.

На это Нарцисс, улыбаясь, сказал:

– Ну да, ходить «в деревню» в самом деле запрещено. Но можно сделать много запретного и посмеяться или исповедаться – и дело с концом, оно тебя больше не касается. Почему тебе нельзя делать маленькие глупости, которые делает почти каждый школяр? Разве это так уж плохо?

Не сдержавшись, Златоуст разразился гневной тирадой:

– Ты и впрямь говоришь, как школьный учитель! А ведь ты точно знаешь, о чем речь! Разумеется, я не вижу большого греха в том, чтобы подшутить разок над местными правилами и поучаствовать в проделке школяров, хотя это и нельзя счесть подготовкой к монастырской жизни.

– Замолчи! – резко воскликнул Нарцисс. – Тебе разве не ведомо, друже, что для многих благочестивых отцов была нужна именно такая подготовка? Разве ты не знаешь, что одним из кратчайших путей к жизни святого может стать жизнь развратника?

– Ах, перестань! – возразил Златоуст. – Я хотел сказать: не малая толика непослушания отягощала мою совесть, а нечто иное. Это была девушка. Это было чувство, которое я не могу тебе описать. Такое чувство, что стоит мне только поддаться искушению, стоит только протянуть руку, чтобы дотронуться до девушки, и я уже никогда не найду пути назад, что грех поглотит меня, как бездна ада, и никогда уже не отпустит. Что всем прекрасным мечтам, всем добродетелям, всей любви к Богу придет конец.

Нарцисс задумчиво кивнул.

– Любовь к Богу, – сказал он, медленно подыскивая слова, – не всегда совпадает с любовью к добру. Ах, если бы все было так просто! Мы знаем, что есть добро, об этом говорится в заповедях. Но в заповедях не весь Бог, они – лишь маленькая частичка его. Ты можешь следовать заповедям и быть далеко от Бога.

– Неужели ты не понимаешь меня? – жалобно спросил Златоуст.

– Разумеется, я тебя понимаю. В женщине, в проблемах пола ты чувствуешь воплощение всего того, что ты называешь «миром» и «грехом». Тебе кажется, что на все другие грехи ты или вовсе не способен, или же, даже совершив их, не позволишь им раздавить себя, покаешься и загладишь вину. Кроме одного греха!

– Точно, это именно то, что я чувствую.

– Вот видишь, я тебя понимаю. К тому же ты не далек от истины, история о Еве и змее-искусителе и в самом деле не досужий вымысел. И все же ты не прав, милый. Ты был бы прав, будь ты настоятелем Даниилом или твоим крестным, святым Хризостомом, будь ты епископом, священником или только простым монахом. Но ты ни то, ни другое, ни третье. Ты школяр, и, даже если ты желаешь навсегда остаться в монастыре или если твой отец этого желает для тебя, ты ведь еще не давал обета, тебя не посвятили в сан священника. Если тебя сегодня или завтра начнет соблазнять красивая девушка и ты поддашься искушению, ты не нарушишь клятвы, не преступишь обета.

– Писаного обета! – воскликнул Златоуст, сильно волнуясь. – Но я преступлю неписанный, священный обет, который ношу в себе. Неужели ты не понимаешь: то, что годится для многих других, не годится для меня. Ты сам ведь тоже еще не посвящен и не дал обета, однако же ты никогда не позволишь себе коснуться женщины! Или я ошибаюсь? Разве ты не такой? Разве ты не тот, за кого я тебя принимаю? Разве в сердце своем ты давно уже не поклялся в том, в чем еще не клялся словесно перед вышестоящими? Разве ты не чувствуешь себя обязанным до конца дней следовать этой клятве? Или ты не такой, как я?

– Нет, Златоуст, я не такой, как ты, не такой, как ты думаешь. Правда, я тоже выполняю невысказанный обет, тут ты прав. Но я вовсе не похож на тебя. Сейчас я скажу тебе то, над чем тебе следует подумать. Слушай: наша дружба вообще не имеет иной цели и иного смысла, кроме как показать тебе, до какой степени ты не похож на меня.

Златоуст стоял озадаченный. Он молчал. Нарцисс говорил с таким видом и таким тоном, что ему нечего было возразить. Но почему Нарцисс произнес эти слова? Почему невысказанный обет Нарцисса значил больше, чем его собственный? Может, он вообще не принимает его всерьез и видит в нем только ребенка? В их странной дружбе снова началась неразбериха, пришли новые печали.

Нарцисс больше не сомневался в природе тайны друга. За всем этим стояла Ева, пра-матерь. Но как могло случиться, что в этом красивом, здоровом и цветущем юноше пробудившееся чувство пола натолкнулось на столь ожесточенную вражду? Должно быть, не обошлось без демона, без тайного врага, которому удалось расколоть этого великолепного человека изнутри, посеять раздор между ним и его изначальными склонностями. Стало быть, демона нужно найти, подвергнуть заклинанию и сделать видимым, тогда с ним можно будет справиться.

Тем временем товарищи все больше и больше сторонились Златоуста, а затем и вовсе отошли от него. Скорее, им казалось, что это он их бросил и в какой-то мере предал. Его дружба с Нарциссом никому не была по душе. Злые распускали слух, что дружба эта противоестественна, особенно те, что сами были влюблены в обоих юношей. Но и другие, понимавшие, что тут нет места пороку, покачивали головами. Никто не желал видеть их вместе; всем казалось, что Нарцисс и Златоуст благодаря своему союзу высокомерно, словно аристократы, отделяются от остальных; это было не по-товарищески, не по-монастырски, не по-христиански.

До ушей настоятеля Даниила кое-что доходило об этой паре – слухи, обвинения, клевета. За более чем сорокалетнюю жизнь в монастыре ему много раз приходилось наблюдать дружбу между юношами, это было в порядке вещей, было прекрасным дополнением к монастырскому быту, иногда забавой, иногда опасностью. Он держался в стороне, внимательно наблюдая, но не вмешиваясь. Столь крепкая, столь исключительная дружба была редкостью, она, без сомнения, несла в себе известную опасность; но так как он ни секунды не сомневался в ее чистоте, то позволил событиям идти своим чередом. Не занимая Нарцисс особого положения среди учеников и учителей, настоятель без колебаний распорядился бы отделить их друг от друга. Плохо, что Златоуст отдалился от сверстников и близко общается только со старшим, с учителем. Но стоило ли мешать Нарциссу, необыкновенному, высокоодаренному, которого учителя считали ровней себе и даже отдавали ему предпочтение, на избранном им поприще и лишать его возможности преподавать? Если бы Нарцисс не оправдал надежд как учитель, если бы его дружба стала причиной небрежности и необъективности, отец Даниил сразу же отстранил бы его. Но его не в чем было обвинить, а потому настоятель не придавал значения кривотолкам и не обращал внимания на ревнивое недоверие других. Помимо того, он знал об особом даре Нарцисса, о его удивительно проникновенном, быть может, несколько самонадеянном знании людей. Он не переоценивал этого дара, ему были больше по душе другие дарования Нарцисса; но он не сомневался, что Нарцисс в школяре Златоусте заметил нечто особенное и знает его значительно лучше, чем он сам или кто бы то ни было другой. Он, настоятель, не углядел в школяре Златоусте ничего, если не считать подкупающей прелести его существа, кроме несколько преждевременно, даже, пожалуй, слишком преждевременно развившегося рвения, с каким тот, простой школяр и гость, похоже, уже сейчас чувствовал себя частью монастыря и почти что братом-монахом. У него не было оснований бояться, что Нарцисс станет способствовать этому трогательному, но незрелому рвению и еще больше раздувать его. Скорее бояться надо было, что друг Златоуста в какой-то мере заразит его духовным самомнением и ученым высокомерием; но именно для этого воспитанника опасность казалась ему не столь уж большой; тут можно было и рискнуть. Когда он думал о том, насколько проще, спокойнее и удобнее для настоятеля было бы управлять ординарными людьми, а не сильными, выдающимися натурами, он улыбался и вздыхал

в одно и то же время. Нет, он не хотел заразиться недоверием, не хотел быть неблагодарным за то, что ему доверены два исключительных человека.

Нарцисс много размышлял о своем друге. Его особенный дар – видеть и чувствами познавать сущность и предназначение человека – давно подсказал ему, что собой представляет Златоуст. Все живое и яркое в этом юноше говорило: он обладает всеми признаками сильного, богато одаренного чувствами и душевными качествами человека, быть может, художника, во всяком случае, человека, способного сильно любить, предназначение и счастье которого заключались в способности воспламеняться и жертвовать собой. Почему же этот человек с даром любви, наделенный тонкими и богатыми чувствами, человек, способный так глубоко воспринимать и любить аромат цветов, утреннее солнце, лошадей, полет птиц, музыку – почему именно он был одержим мыслью стать духовным лицом, аскетом? Нарцисс много размышлял об этом. Он знал, что отец Златоуста поддерживал в нем эту одержимость. Не мог ли он породить ее? Какие чары наслал он на сына, что тот поверил в подобное предназначение и долг? Что за человек этот отец? Хотя он часто с умыслом заводил о нем речь и Златоуст немало о нем рассказывал, Нарцисс все-таки не мог представить себе этого отца, не видел его. Не странно ли это, не подозрительно ли? Когда Златоуст говорил о пойманной им в детстве форели, когда описывал мотылька, подражал крику птицы, рассказывал о товарище, о собаке или о нищем, то возникали некие образы. Когда же он говорил о своем отце, не возникало ничего. Нет, если бы этот отец действительно был такой важной, сильной, властной фигурой, Златоуст по-другому описывал бы его, он был бы в состоянии дать о нем иное представление! Нарцисс был невысокого мнения об этом отце, он ему не нравился; временами он даже сомневался, настоящий ли это отец Златоуста. Он был всего лишь пустым идолом. Но откуда у него эта власть над сыном? Каким образом удалось ему наполнить душу Златоуста мечтами, столь чуждыми его душевному складу?

Златоуст тоже много думал. Как бы ни был он уверен в сердечной привязанности своего друга, его все же не покидало чувство, что Нарцисс принимает его не совсем всерьез и все время обращается с ним как с малым ребенком. И с какой это стати друг постоянно дает понять, что они совершенно разные люди?

Между тем такие мысли не заполняли целиком дни Златоуста. Он не любил долго размышлять. Было много других дел в течение долгого дня. Он часто заглядывал к брату привратнику, с которым поддерживал добрые отношения. Уговорами и хитростью он снова и снова добивался разрешения покататься верхом на Звездочке; любили его и другие, жившие в монастыре, особенно мельник; часто они вместе с батраком мельника подкарауливали выдру и пекли лепешки из тонкой прелатской муки, которую Златоуст отличал от всех других сортов муки с закрытыми глазами, только по запаху. И хотя он много времени проводил с Нарциссом, у него оставался часок-другой, когда он мог предаться своим давним пристрастиям и удовольствиям. Богослужения чаще всего тоже доставляли ему радость, с удовольствием пел он в школьном хоре, с удовольствием творил молитвы Розария перед любимым алтарем, слушал мессу на прекрасной, торжественной латыни, разглядывал сквозь клубы ладана сверкающую золотом утварь и украшения и умиротворенные, почтенные фигуры святых, стоящие на колоннах, евангелистов в окружении животных, Иакова в шляпе и с сумой пилигрима.

Эти каменные и деревянные фигуры привлекали его, таинственным образом соотносились с его собственной судьбой, к примеру, виделись в роли бессмертных и всеведущих крестных отцов, покровителей и проводников по жизни. Любовь и тайное пристрастие чувствовал он также к колоннам и капителям окон и дверей, к орнаментам алтарей, к этим прекрасно профилированным жезлам и венцам, к этим цветам и пышным листьям, выступавшим из каменных колонн и так выразительно и ненавязчиво их украшавшим. Он видел драгоценную и глубокую тайну в том, что помимо природы, ее растений и животных суще-

ствуется еще и эта вторая, немая, сотворенная человеком природа, эти люди, животные и растения из камня и дерева. Частенько употреблял он свободное время на то, чтобы срисовать эти фигуры, головы животных и пучки листьев, а подчас пытался рисовать и настоящие цветы, лошадей, человеческие лица.

Но особенно любил он церковное пение, прежде всего песнопения в честь Девы Марии. Он любил четкий и строгий ход этих песнопений, постоянно повторяющиеся в них мольбы и восхваления. Он мог благоговейно следить за их глубоким смыслом или же, забыв о смысле, наслаждаться только торжественным размером стихов, целиком отдаваясь им, отдаваясь растянутым глубоким тонам, полнозвучным гласным, исполненным благодати повторам. В глубине души он любил не ученость, не грамматику и логику, хотя и в них была своя прелесть, а звучный, образный мир литургии.

Время от времени он прерывал ненадолго наступавшее между ним и соучениками отчуждение. Ему было тягостно и скучно, когда его долго окружали недовольство и холодность; ему то и дело удавалось рассмешить ворчливого соседа по скамейке, разговорить молчаливого соседа, спавшего на койке рядом, он не жалел усилий, старался понравиться и на какое-то время снова привлекал на свою сторону несколько глаз, несколько лиц, несколько сердец. Дважды в результате подобных сближений он, сам того не желая, добивался, что его снова приглашали «сходить в деревню». Он испугался и сразу отпрянул назад. Нет, в деревню он больше не пошел, ему удалось забыть девушку с косами и никогда или, точнее, почти никогда не вспоминать о ней.

Глава 4

Попытки Нарцисса раскрыть тайну Златоуста долго оставались безуспешными. Долго старался он, на первый взгляд тщетно, растормошить его, научить языку, на котором можно было бы поведать о тайне.

Из того, что друг рассказывал ему о своем происхождении и о своей родине, картина не возникала. Там был призрачный, бесформенный, но почитаемый отец, была легенда об уже давно пропавшей или погибшей матери, от которой осталось одно только имя. Мало-помалу Нарцисс, умевший читать в душах, понял, что его друг относится к тем людям, которые утратили частицу своей жизни, которые под давлением какой-либо необходимости или колдовства забыли часть своего прошлого. Он понял, что простыми расспросами и поучениями здесь ничего не добьешься; ясно ему было и то, что он чересчур уверовал в силу разума и напрасно потратил столько времени на разговоры.

Но не напрасной была любовь, связывавшая его с другом, и привычка много времени проводить вместе. Несмотря на глубокое различие своих натур, они многому научились друг у друга; наряду с языком разума между ними постепенно возник язык души и знаков; так наряду с дорогой между двумя населенными пунктами, по которой ездят повозки и всадники, появляется множество случайных, окольных, тайных дорог: дорожки для детей, тропинки влюбленных, едва заметные стежки, по которым ходят кошки и собаки. Постепенно воображение Златоуста магическими путями прокралось в мысли друга, и Нарцисс научился у Златоуста без слов понимать и чувствовать склад его души. Медленно вызревали в лучах любви новые связи между душами, и только потом приходили слова. И вот однажды в свободный от занятий день, в библиотеке, неожиданно для обоих, между друзьями состоялась беседа, затронувшая суть и смысл их дружбы и многое осветившая по-новому.

Они говорили об астрологии, которая не изучалась в монастыре и была под запретом, и Нарцисс сказал, что астрология – это попытка внести порядок и систему в разнообразие человеческих характеров, судеб и предназначений.

– Ты все время говоришь о различиях, постепенно я понял, что в этом и заключается твоя важнейшая особенность, – возразил Златоуст. – Когда ты, к примеру, говоришь о большой разнице между собой и мной, мне почему-то кажется, что разница состоит как раз в твоей странной страсти находить различия!

Нарцисс: «Так и есть, ты попал в самую точку. В самом деле: для тебя различия не столь и важны, для меня они – нечто единственно важное. По своему характеру я ученый, мое предназначение – наука. А наука, говоря твоими же словами, не что иное, как «страсть находить различия». Лучше о ее сути не скажешь. Для нас, ученых, нет ничего важнее установления различий, наука есть искусство различения. Например, найти в любом человеке признаки, отличающие его от других, означает постичь его».

Златоуст: «Ну да. На одном крестьянские башмаки, он крестьянин. На другом корона, он король. Это, конечно же, тоже различия. Но они видны даже детям, без всякой науки».

Нарцисс: «Если крестьянин и король будут одеты одинаково, ребенок не сумеет их различить».

Златоуст: «И наука тоже».

Нарцисс: «Наука, возможно, и различит. Она не умнее ребенка, согласен, но она терпеливее, она замечает не только те признаки, которые бросаются в глаза».

Златоуст: «На это способен и любой умный ребенок. Он узнает короля по взгляду, по манере держаться. Короче говоря, вы, ученые, заносчивы и всегда считаете других глупее себя. Умным можно быть и без всякой науки».

Нарцисс: «Меня радует, что ты начинаешь это понимать. Но скоро ты поймешь и другое: я имею в виду не ум, когда говорю о различии между тобой и мной. Я ведь не говорю, ты умнее или глупее, лучше или хуже. Я только говорю, что ты другой».

Златоуст: «Тут и понимать нечего. Но ты говоришь не только о различии признаков, ты говоришь о различии судьбы, предназначения. Почему, к примеру, ты должен иметь другое предназначение, чем я? Ты христианин, как и я, ты, как и я, решил посвятить себя монастырской жизни, ты, как и я, чадо нашего Отца Небесного. У нас с тобой одна цель: вечное блаженство. У нас одно предназначение: возвращение к Богу».

Нарцисс: «Очень хорошо. В учебнике догматики один человек ничем не отличается от другого, но в жизни все обстоит по-иному. Тебе не кажется, что любимый ученик Спасителя, на чьей груди он отдыхал, и тот другой ученик, который его предал, – они ведь имели не одно и то же предназначение?»

Златоуст: «Ты софист, Нарцисс! На этом пути мы не станем друг другу ближе».

Нарцисс: «Мы ни на каком пути не станем друг другу ближе».

Златоуст: «Не говори так!»

Нарцисс: «Я говорю серьезно. Наша задача не в том, чтобы стать ближе друг другу, как не сближаются солнце и луна, море и суша. Мы оба, милый друг, солнце и луна, море и суша. Цель не в том, чтобы слиться друг с другом, а чтобы познать друг друга и научиться видеть и уважать в другом то, чем он является: противоположность и дополнение другого».

Златоуст обескураженно опустил голову, лицо его опечалилось.

Наконец он сказал:

– Значит, поэтому ты так часто не принимаешь моих мыслей всерьез?

Нарцисс немного помедлил с ответом, потом произнес ясным, твердым голосом:

– Поэтому. Тебе надо привыкнуть к тому, милый Златоуст, что всерьез я принимаю только тебя самого. Поверь мне, я всерьез принимаю каждую интонацию твоего голоса, каждый жест, каждую улыбку. Но к твоим мыслям я отношусь менее серьезно. Я серьезно принимаю в тебе то, что нахожу существенным и необходимым. Почему, обладая многими другими дарованиями, ты хочешь, чтобы именно к твоим мыслям относились с особым вниманием?

Златоуст горько улыбнулся:

– Я же говорил, ты всегда считал меня ребенком!

Нарцисс остался тверд.

– Часть твоих мыслей я считаю детскими. Вспомни, мы только что говорили, что умный ребенок не обязательно должен быть глупее ученого. Но если ребенок начнет рассуждать о науке, ученый не примет это всерьез.

– Но ты смеешься надо мной и тогда, когда мы говорим не о науке! – с горячностью воскликнул Златоуст. – Например, ты всегда делаешь вид, будто все мое благочестие, мое старание хорошо учиться, мое желание стать монахом – всего лишь детская забава.

Нарцисс посмотрел на него серьезно.

– Я принимаю тебя всерьез, когда ты остаешься Златоустом. Но ты остаешься им не всегда. Всей душой я желаю только одного: чтобы ты во всем был Златоустом. Ты не ученый, ты не монах – ученого и монаха можно сделать из менее ценного материала. Тебе кажется, что в моих глазах ты слишком мало учен, не очень силен в логике и недостаточно благочестив. О нет, для меня в тебе слишком мало от тебя самого.

Хотя после этого разговора Златоуст ушел к себе озадаченный и даже оскорбленный, но через несколько дней он сам проявил желание его продолжить. На этот раз Нарциссу удалось так обрисовать различия их натур, что Златоуст был склонен с ним согласиться.

Нарцисс говорил доверительно, он чувствовал, что на этот раз Златоуст лучше, охотнее воспринимает его слова, что он имеет над ним власть. Соблазненный успехом, он сказал больше, чем собирался сказать, позволил собственным словам увлечь себя.

– Видишь ли, – сказал он, – я превосхожу тебя только в одном: я бодрствую, в то время как ты бодрствуешь только наполовину, а иногда и вовсе спишь. Бодрствующим я называю того, кто рассудком и сознанием познает себя самого, свои самые задушевные и самые безрассудные побуждения, инстинкты и слабости и умеет с ними считаться. Научиться этому – вот смысл твоей встречи со мной. У тебя, Златоуст, дух и природа, сознание и мир грез очень далеки друг от друга. Ты забыл свое детство, оно взывает к тебе из глубины твоей души. Оно будет до тех пор мучить тебя, пока ты его не услышишь... Но хватит об этом. В бдении, как уже сказано, я сильнее тебя, в этом я превосхожу тебя и могу быть тебе полезен. Во всем остальном, милый, ты превосходишь меня, точнее, так будет, когда ты обретишь самого себя.

Златоуст удивленно слушал, но при словах «ты забыл свое детство» вздрогнул, словно пораженный стрелой, хотя Нарцисс этого не заметил, ибо по своему обыкновению подолгу говорил с закрытыми глазами или смотря прямо перед собой – казалось, так ему легче было подбирать слова. Он не увидел, что лицо Златоуста вдруг дернулось и стало покрываться бледностью.

– Я... превосхожу тебя! – заикаясь, пробормотал он, чтобы хоть что-то сказать, на него словно нашло оцепенение.

– Конечно, – продолжал Нарцисс. – Натуры, подобные твоей, наделенные сильными и нежными чувствами, одухотворенные, мечтательные, полные поэзии и любви, почти всегда превосходят нас, людей духа. У вас материнское происхождение, вы живете полной жизнью, вам дана сила любви и способность к сопереживанию. Мы же, люди духа, хотя часто по видимости руководим и управляем вами, живем жизнью урезанной и сухой. Вам принадлежит полнота жизни; сок плодов, сады любви, прекрасное царство искусства – все это ваше. Ваша родина – земля, наша родина – идея. Ваша опасность в том, чтобы не утонуть в мире чувств, наша – чтобы не задохнуться в лишенном воздуха пространстве. Ты художник, я мыслитель. Ты спишь на груди матери, я бодрствую в пустыне. Мне светит солнце, тебе светят луна и звезды, твои мечты – о девушках, мои – о юношах...

С широко раскрытыми глазами слушал Златоуст, как говорил Нарцисс, слегка упиваясь собственным красноречием. Многие его слова вонзались в него, как иглы; при последних словах он побледнел и закрыл глаза, и, когда Нарцисс заметил это и в испуге умолк, бледный как смерть Златоуст сказал потухшим голосом:

– Однажды случилось, что я обессилел и разрыдался у тебя на глазах – ты помнишь? Больше такого никогда не случится, я себе этого никогда не прощу – и тебе тоже! А сейчас немедленно уходи и оставь меня одного, ты сказал мне страшные слова.

Нарцисс был очень смущен. Его увлекли собственные слова, ему показалось, что он говорит лучше, чем обычно. И вот он в замешательстве увидел, что какое-то из этих слов глубоко уязвило его друга, задело за живое. Ему нелегко было оставить его в этот момент одного, он на секунду задержался, но Златоуст нахмурился, и он в смятении убежал, оставив друга в столь необходимом ему одиночестве.

На сей раз душевное перенапряжение Златоуста не разрешилось слезами. С чувством глубочайшего, безнадежнейшего изумления, как будто друг неожиданно вонзил ему нож в грудь, стоял он, тяжело дыша, со сжавшимся в смертельной тоске сердцем, с бледным, как воск, лицом и бесчувственными руками. Вернулась прежняя беда, только на несколько градусов усиленная, снова что-то душило его изнутри, появилось чувство, что он заглянул в глаза чему-то ужасному, совершенно невыносимому. Но избавительные слезы на этот раз не пришли на помощь, не спасли от беды. Пресвятая Богородица, что же это такое? Его хотели убить? Он убил? Какие страшные слова были произнесены?

Он с трудом переводил дыхание и, как отравленный, пытался освободиться от чего-то смертельного, что сидело глубоко внутри и переполняло его, грозя разорвать. Будто плывя по воде, он выскочил из комнаты, безотчетно бросился по коридорам и лестницам к самым

тихим, самым пустынным уголком монастыря, на свободу, на воздух. Он оказался в самом укромном месте обители, в крытой галерее, над несколькими зелеными грядками сияло ясное небо, в прохладном воздухе каменного подвала стоял едва ощутимый сладковатый аромат роз.

Сам того не подозревая, Нарцисс в этот час сделал то, о чем давно уже мечтал: обнаружил и назвал по имени демона, которым был одержим его друг. Каким-то своим словом он затронул тайну в душе Златоуста, и тайна эта заявила о себе неистовой болью. Долго блуждал Нарцисс по монастырю в поисках друга, но нигде не нашел его.

Златоуст стоял под одной из тяжелых каменных арок, ведущих из галереи в крытый огород, сверху на него пялились звериные головы, по три на каждой колонне, каменные головы собак или волков. Страшно ныла в нем рана, не находя выхода к свету, к разуму. В смертельном страхе сжалось горло, сдавило желудок. Машинально подняв голову, он увидел перед собой одну из капителей с головами трех животных, и ему вдруг показалось, что эти дикие головы сидят, пялят глаза и лают в его собственных внутренностях.

«Сейчас я умру», – подумал он в ужасе. И тут же, дрожа от страха, почувствовал, что теряет рассудок, что звери вонзают в него свои зубы.

Весь дрожа, он присел у подножия колонны, боль была слишком сильна и достигла крайней точки. Он лишился чувств и, уронив голову, погрузился в желанное небытие.

У настоятеля Даниила был не самый безоблачный день, сегодня к нему пришли два пожилых монаха, возбужденные, крикливые, агрессивные, уже в который раз затеявшие яростную перебранку по поводу каких-то давних пустячных дел. Он чересчур долго выслушивал их, призывал к благоразумию, но без успеха и наконец отпустил, строго отчитав, наложив на каждого довольно суровое наказание, но в душе чувствовал, что его действия не принесут никакой пользы. Усталый, он уединился в часовне нижней церкви, помолился и поднялся с колен, так и не получив облегчения. Привлеченный легким ароматом роз, он, чтобы глотнуть свежего воздуха, ненадолго зашел в крытую галерею. Здесь он и обнаружил Златоуста, лежавшего без сознания на каменных плитах. Печально оглядел он его, испуганный бледностью и отрешенностью обычно такого милого юного лица. Недобрый день сегодня, вот еще и это! Он попытался поднять юношу, но у него не хватило сил. Тяжело вздохнув, старик пошел и позвал двух монахов помоложе, приказав отнести его наверх, а заодно послал к нему отца Ансельма, лекаря. Одновременно он велел позвать Нарцисса, которого быстро нашли, и он явился.

– Ты уже знаешь? – спросил настоятель.

– О Златоусте? Да, досточтимый отец, я только что услышал, что он заболел или с ним что-то случилось, его несли на руках.

– Да, я нашел его лежащим в крытой галерее, где ему, собственно, нечего было делать. С ним не случилось ничего страшного, он в обмороке. Это мне не нравится. Мне кажется, тут не обошлось без тебя или же ты знаешь об этом, он ведь твой ближайший друг. Поэтому я и позвал тебя. Говори.

Нарцисс, как всегда владея собой и своей речью, коротко сообщил о сегодняшнем разговоре со Златоустом и о том, как неожиданно сильно этот разговор подействовал на друга. Настоятель не без неудовольствия покачал головой.

– Странные это разговоры, – сказал он, принуждая себя говорить спокойнее. – То, о чем ты мне поведал, можно назвать вторжением в чужую душу, это, я бы сказал, душеспасительный разговор. Но ты ведь не духовник Златоуста. Ты вообще не духовное лицо, ты еще не рукоположен. Как случилось, что ты говоришь с воспитанником тоном, какой приличествует только духовнику? Последствия, как видишь, печальные.

– О последствиях, – мягко, но уверенно сказал Нарцисс, – мы еще не знаем, досточтимый отец. Я был несколько испуган бурной реакцией, но я не сомневаюсь, что последствия нашего разговора будут благоприятны для Златоуста.

– Последствия мы еще увидим. Сейчас я говорю не о них, а о твоём поступке. Что тебя побудило вести такие разговоры со Златоустом?

– Как вам известно, он мой друг. Я питаю к нему особую симпатию и полагаю, что хорошо его понимаю. Вы назвали мое отношение к нему душевным. Я ни в коей мере не претендую на авторитет духовника, но думаю, что знаю Златоуста лучше, чем он сам себя знает.

Настоятель пожал плечами.

– Я знаю, это твоя специальность. Будем надеяться, что ты не натворил ничего дурного... Он что, нездоров? Я хочу сказать, не болит ли у него что-нибудь? Он чувствует слабость? Плохо спит? Ничего не ест? Страдает какими-нибудь заболеваниями?

– Нет, до сих пор он был здоров. Здоров телом.

– А в остальном?

– Душой он, несомненно, болен. Вы знаете, он в таком возрасте, когда начинается борьба с половым влечением.

– Знаю. Ему семнадцать?

– Восемнадцать.

– Восемнадцать. Ну да. Довольно поздно. Но ведь эта борьба – нечто естественное, через нее должен пройти каждый. Из-за нее Златоуста нельзя назвать душевнобольным.

– Нет, досточтимый отец, не только из-за нее. Златоуст и раньше был болен душой, уже давно, поэтому эта борьба для него опаснее, чем для других. Мне кажется, он страдает оттого, что забыл часть своего прошлого.

– Что? Какую еще часть?

– Свою мать и все, что с ней связано. Я тоже ничего об этом не знаю, знаю только, что здесь должен быть источник его болезни. Златоуст, похоже, знает о своей матери только то, что он рано ее потерял. Но возникает впечатление, что он стыдится ее. И все же, мне кажется, именно от нее он унаследовал большинство своих способностей; ибо все, что он может сказать о своем отце, не позволяет судить о нем как о родителе этого прекрасного, всесторонне одаренного, своеобразного сына. Я знаю это все не по рассказам, я сужу по приметам.

Настоятель, который поначалу про себя посмеивался над этими, как ему казалось, не по годам умными и высокомерными речами, для которого вся эта история была утомительна и обременительна, начал задумываться. Он припомнил отца Златоуста, немного напыщенного и недоверчивого человека, и заодно вдруг вспомнил, порывшись в памяти, кое-какие слова, которые тот сказал тогда в разговоре с ним о матери Златоуста. Она опозорила его и сбежала, сказал он, и ему пришлось приложить немало усилий, чтобы вытравить в сынке воспоминания о ней и подавить возможные, унаследованные от нее пороки. Это ему неплохо удалось, и сын готов посвятить свою жизнь Богу ради искупления того, что сотворила мать.

Никогда еще Нарцисс не был так малопривлекателен настоятелю, как сегодня. И все же – как точно этот мечтатель попал в точку, как хорошо он и впрямь знает Златоуста?

В заключение, еще раз опрошенный о событиях сегодняшнего дня, Нарцисс сказал:

– Сильное потрясение, которое пережил сегодня Златоуст, я вызвал неумышленно. Я напомнил ему о том, что он плохо знает себя, что он забыл свое детство и свою мать. Должно быть, какое-то мое слово задело его и проникло в то средоточие мрака, с которым я уже давно борюсь. Он был словно не в себе и смотрел на меня так, будто не знал больше ни меня, ни себя самого. Я часто говорил ему, что он спит, что по-настоящему он еще не проснулся. Теперь он разбужен, в этом я не сомневаюсь.

Нарцисс был отпущен без порицания, но с временным запретом навещать больного.

Тем временем отец Ансельм велел уложить потерявшего сознание в постель и сидел рядом с ним. Ему казалось нецелесообразным приводить его в сознание с помощью сильнодействующих средств. Юноша выглядел очень уж плохо. Благожелательно смотрел старик с морщинистым добрым лицом на юношу. Ну разумеется, думал он, парень съел что-то непотребное, целую грудку кислицы или еще какой-нибудь гадости, такое случается не впервой. Язык он не мог осмотреть. Он любил Златоуста, но его друга, этого преждевременно созревшего слишком юного учителя, терпеть не мог. И вот на тебе. Наверняка Нарцисс замешан в этой глупой истории. И зачем этот славный, светлоглазый юноша, это милое дитя природы, связался именно с этим чванливым ученым, с этим тщеславным грамматиком, для которого его греческий был важнее всего живого на свете!

Когда долгое время спустя открылась дверь и вошел настоятель, отец Ансельм все еще сидел у постели и смотрел на больного. Какое у него славное, юное, доверчивое лицо, а ты сидишь рядом, должен помочь ему и, вероятно, не сможешь этого сделать. Наверно, причиной могли быть колики, ему надо бы прописать глинтвейна или, может, настойки ревеня. Но чем дольше всматривался он в позеленевшее, искаженное лицо, тем больше склонялся к другому подозрению, внушающему серьезные опасения. У отца Ансельма был опыт в подобных делах. Много раз в своей долгой жизни видел он одержимых. Он не решился высказать подозрение даже самому себе. Лучше подождать и понаблюдать. Однако ж, в сердцах подумал он, если этот несчастный юноша действительно околдован, то виновного далеко искать не придется и ему не поздоровится.

Подошел настоятель, посмотрел на больного и осторожно приподнял ему одно веко.

– Можно его разбудить? – спросил он.

– Я хотел бы еще подождать. Сердце у него здоровое. К нему никого нельзя пускать.

– Есть опасность?

– Не думаю. Никаких повреждений, никаких следов удара или падения. Он в обмороке, быть может, из-за колик. При очень сильных болях теряют сознание. Будь это отравление, появилась бы лихорадка. Нет, он придет в себя и останется жив.

– Это не может быть следствием душевного состояния?

– Не стану отрицать. Неужели ничего не известно? Быть может, он чего-то сильно испугался? Известие о смерти? Бурное препирательство? Оскорбление? Тогда все было бы ясно.

– Мы этого не знаем. Позаботьтесь, чтобы к нему никого не допускали. Прошу вас оставаться с ним, пока он не придет в себя. Если ему станет хуже, позовите меня, даже ночью.

Прежде чем уйти, старец еще раз склонился над больным; он подумал о его отце и о том дне, когда этот красивый веселый блондин был доставлен сюда, и как все сразу его полюбили. Да и он смотрел на него с удовольствием. Но Нарцисс действительно прав: мальчик ничем не напоминал своего отца! Ах, сколько забот повсюду, как несовершенно все наши деяния! Уж не упустил ли он чего в этом бедном отроке? Нашел ли Златоуст подходящего духовника? Разве это дело, что никто во всем монастыре не знает этого ученика лучше Нарцисса? Мог ли помочь ему тот, кто сам еще оставался послушником и не был пока ни монахом, ни священником? Тот, в чьих мыслях и взгляде было всегда нечто неприятно высокомерное, даже враждебное? Бог знает, не вел ли он, настоятель, себя все это время и с Нарциссом не так, как подобало бы? Бог знает, может, за его маской послушания скрывалось дурное, может, он язычник? И за то, что когда-нибудь выйдет из этих двух молодых людей, он, Даниил, тоже несет свою долю ответственности.

Когда Златоуст пришел в себя, было темно. Голова казалась пустой и кружилась. Он чувствовал, что лежит в постели, но не знал, где он, да и не думал об этом, ему было все равно. Но где он был до этого? Откуда возвратился, из каких далеких переживаний? Он где-то побывал, очень далеко отсюда, что-то увидел, что-то чрезвычайно важное и великолепное,

но в то же время ужасное и незабываемое – но он все забыл. Где он был? Что возникло перед ним, такое громадное, такое мучительное, такое блаженное, и снова исчезло?

Он внимательно вслушивался в себя, в те глубины, где сегодня что-то стронулось с места, что-то произошло – что же это было? Из глубины поднимался сонм бессвязных образов, он видел собачьи головы, три собачьи головы, он ощущал запах роз. О как же больно ему было! Он закрыл глаза. О какая ужасная была боль! Он снова уснул.

Проснувшись опять, он в стремительно ускользящем царстве сновидений успел увидеть этот образ, снова обнаружил его и вздрогнул, будто в порыве мучительного наслаждения. Он видел, он стал зрячим. Он увидел Ее – Величественную, Сияющую, с яркими полными губами и блестящими волосами. Он увидел свою Мать. И в то же время ему показалось, что он слышит голос: «Ты забыл свое детство». Чей это голос? Он прислушался, задумался и вспомнил. Это был Нарцисс. Нарцисс? И в одно мгновение внезапно все снова встало перед его глазами: память вернулась, он знал. О мама, мама! Горы хлама, океаны забвения ушли, исчезли; царственными светло-голубыми очами на него снова взирала утраченная, несказанно любимая.

Отец Ансельм, задремавший в кресле рядом с кроватью больного, проснулся. Он услышал, как Златоуст зашевелился, услышал его дыхание и осторожно встал.

– Здесь кто-то есть? – спросил Златоуст.

– Это я, не пугайся. Сейчас зажгу свет.

Он затеплил лампаду, пламя осветило морщинистое доброе лицо.

– Разве я болен? – спросил юноша.

– Ты был без сознания, сынок. Дай-ка руку, посмотрим, что с пульсом. Как ты себя чувствуешь?

– Хорошо. Спасибо вам, отец Ансельм, вы очень добры. У меня ничего не болит, я только устал.

– Еще бы не устать. Скоро ты опять уснешь. Но сначала выпей глоток подогретого вина, оно уже приготовлено. Давай осушим с тобой по бокалу, мой мальчик, за нашу добрую дружбу.

Он заранее приготовил кувшинчик с глинтвейном и держал его в сосуде с горячей водой.

– Мы, стало быть, вместе вздремнули часок, – засмеялся лекарь. – Ничего себе санитар, подумаешь ты, не смог удержаться от сна. Ну да ничего, мы тоже люди. А сейчас давай выпьем немного этого волшебного напитка, малыш, нет ничего лучше такой вот маленькой тайной ночной пирушки. Твое здоровье!

Златоуст засмеялся, чокнулся и пригубил бокал. Подогретое вино было приправлено корицей и гвоздикой и подслащено сахаром, такого он еще ни разу не пробовал. Он вспомнил, что однажды уже был болен, и тогда за ним ухаживал Нарцисс. На сей раз рядом был отец Ансельм, такой ласковый с ним. Ему очень нравилось здесь, было так приятно и странно лежать при свете лампы и пить с отцом Ансельмом среди ночи подогретое сладкое вино.

– У тебя болит живот? – спросил старик.

– Нет.

– А мне показалось, что у тебя колики, Златоуст. Оказывается, ничего подобного. Покажи-ка язык. Так, хорошо, ваш старый Ансельм снова попал впросак. Завтра ты еще полежишь здесь, а я зайду и осмотрю тебя. Ну как, справился с вином? Отлично, оно пойдет тебе на пользу. Ну-ка посмотрим, не осталось ли там еще. По полбокальчика на брата наберется, если разделить по-честному... Ну и напугал же ты нас, Златоуст! Лежишь в крытой галерее, словно мертвец. У тебя действительно не болит живот?

Они рассмеялись и честно поделили остаток больничного вина, отец Ансельм отпустил свои шуточки, а Златоуст благодарно и весело смотрел на него снова посветлевшими глазами. Затем старик ушел спать.

Златоуст еще какое-то время лежал без сна, из глубины снова стали медленно всплывать образы, снова вспыхнули слова друга, и снова возникла в его душе белокурая сияющая женщина – мать; ее образ оведал его, как теплый фён, как облако, полное любви, тепла, нежности и сердечного зова. О мама! Как могло случиться, что я забыл тебя!

Глава 5

Вообще-то Златоуст и до этого знал кое-что о своей матери, но только из рассказов других; образ ее уже не жил в его душе, и то небольшое, что ему было известно о ней, он большей частью скрыл от Нарцисса. О матери запрещалось говорить, ее стыдились. Она была танцовщица, красивая, необузданного нрава женщина, благородного, но недоброго, языческого происхождения; отец Златоуста, по его рассказам, вытащил ее из позора и нищеты; он крестил ее и дал религиозное воспитание; женившись на ней, он сделал ее уважаемой женщиной. Но она, после нескольких лет покорности и упорядоченной жизни, опять вспомнила свои старые занятия и фокусы, чем вызвала всеобщее неодобрение, она соблазняла мужчин, целые дни и недели проводила вне дома, прослыла ведьмой и в конце концов, после того как муж много раз разыскивал ее и возвращал домой, исчезла навсегда. Слава о ней еще какое-то время была жива, недобрая слава, мерцавшая, как хвост кометы, но потом и она погасла. Ее муж долго оправлялся от многолетнего беспокойства, страха, позора и вечных сюрпризов, которые она ему преподносила; вместо злополучной жены он воспитывал теперь сынишку, походившего на мать фигурой и лицом; муж стал угрюмым святошей и внушал Златоусту мысль, что тот, дабы искупить грехи матери, должен принести свою жизнь в жертву Богу.

Вот приблизительно то, что отец обычно рассказывал Златоусту о своей пропавшей жене, хотя говорил он об этом неохотно, а в разговоре с настоятелем ограничился намеками; все это, как некое страшное предание, было известно и сыну, хотя он научился вытеснять услышанное из сознания и уже стал забывать. Но он совершенно забыл и утратил истинный образ матери, другой, абсолютно иной образ, сложившийся не из рассказов отца и прислуги и не из неясных нелепых слухов. Он забыл свое собственное, истинное, пережитое воспоминание о матери. И вот этот образ ожил, звезда его ранних лет снова возшла.

– Невероятно, как я мог это забыть, – сказал он своему другу. – Никого в жизни не любил я так, как свою мать, так безоговорочно и пылко, никого так не почитал, никем так не восхищался, она была для меня солнцем и луной. Бог ведь как случилось, что этот образ в моей душе померк и постепенно превратился в ту злую и бесформенную ведьму, какой она была для отца, а многие годы и для меня.

Для Нарцисса только что закончилось время искуса, и он принял постриг. Его отношение к Златоусту странным образом изменилось. Златоуст, который ранее часто отвергал советы и предостережения друга, видя в них умничанье и нравоучительство, со времени своего великого переживания был переполнен искренним восхищением мудростью друга. Сколь многие его слова оказались пророческими и сбылись, как до жути глубоко заглянул он в его внутренний мир, как точно угадал его главную тайну, его скрытую рану, как мудро исцелил его!

Ибо юноша выглядел исцелившимся. Тот обморок вскоре забылся; более того, бесследно исчезли нарочитость и неестественность в поведении Златоуста, не по годам развитый ум, раньше времени созревшая тяга к монашеству, вера в то, что он обязан всего себя посвятить служению Богу. Казалось, юноша стал моложе и одновременно старше с тех пор, как обрел себя. И всем этим он был обязан Нарциссу. Однако Нарцисс с недавних пор относился к своему другу с непонятной осторожностью. В то время как Златоуст так восхищался им, он вел себя очень скромно, без прежней снисходительности и поучительного тона. Он видел, что Златоуст черпает силы из тайных источников, которые ему самому были чужды; он мог способствовать их росту, но не мог ими воспользоваться. Он с радостью видел, что друг освобождается от его руководства, но иногда бывал грустен. Он чувствовал себя пройденной ступенькой, отброшенной оболочкой; он видел приближение конца их дружбы, которая столь много для него значила. Он все еще знал о Златоусте больше, чем тот сам о себе,

ибо хотя Златоуст снова обрел свою душу и был готов следовать ее зову, но он не догадывался, куда она его приведет; Нарцисс догадывался и был бессилён; путь его любимца вел в миры, куда он сам никогда не попадет.

Тяга Златоуста к наукам изрядно поуменилась. Прошло и его увлечение спорами с другом, он со стыдом вспоминал о некоторых своих тогдашних взглядах. Между тем Нарцисс в последнее время, после завершения послушничества или вследствие пережитого со Златоустом, ощутил потребность в уединении, аскезе и духовных упражнениях, тягу к посту и долгим молитвам, к частым исповедям и добровольному покаянию, и эту тягу Златоуст понимал и почти разделял. После выздоровления инстинкты его чрезвычайно обострились; хотя он не имел ни малейшего представления о своих будущих целях, но тем не менее с отчетливой и нередко пугающей ясностью предчувствовал, что решается его судьба, что отведенное ему время невинности и покоя прошло и что все в нем напряглось в ожидании перемен. Нередко это предчувствие было упоительным, и он, словно влюбленный, не мог заснуть ночи напролет; но временами оно было мрачным и глубоко удручало его. Мать, давно потерянная, снова вернулась к нему; это было великое счастье. Но куда вел ее манящий зов? В неизвестность, в запутанность, в несчастье и, быть может, в смерть. К покою, тишине, уверенности, в монашескую келью и пожизненное заточение в монастырской общине он не вел, ее зов не имел ничего общего с теми отцовскими заповедями, которые сам он так долго принимал за свои собственные желания. Этим чувством, которое часто было бурным, страшным и жгучим, как сильное плотское желание, питалось благочестие Златоуста. Повторяя долгие молитвы, обращенные к Пресвятой Богородице, он избавлялся от переполнявшего его чувства к собственной матери. И тем не менее его молитвы то и дело кончались теми же странными, восхитительными мечтами, которые отныне все чаще навещали его: мечтами наяву, в полубессознательном состоянии, мечтами о ней, и в них участвовали все его чувства. Тогда его обволакивал запах материнского мира, этот мир глядел на него загадочными, полными любви глазами, глухо шумел, как море и рай, ласково лепетал бессмысленные, но исполненные чувства нежные слова, на вкус казался сладким и соленым, касался шелковистыми волосами его жаждущих губ и глаз. Не только вся прелесть мира была в матери, не только нежный взгляд синих глаз, милая, сулящая счастье улыбка, ласковое утешение; в ней, где-то за прелестной оболочкой, таилось одновременно все ужасное и темное, вся алчность, все страхи, все грехи, все несчастья, все рождения и все смерти.

Юноша глубоко погружался в эти мечты, в эту ажурную паутину, которую плели ожившие чувства. В них не только волшебным образом воскресало милое прошлое: детство и материнская любовь, сияющее золотое утро жизни; в них витало и тревожное, многообещающее, манящее и грозное будущее. Иногда эти мечты, в которых мать, Мадонна и возлюбленная сливались в одно, казались ему ужасным преступлением и богохульством, смертным грехом, который уже никогда не искупить; в другой раз он находил в них избавление от всех бед и совершенную гармонию. Жизнь взирала на него, полная тайн, мрачный, непостижимый мир, оцепеневший, выставивший колючки лес, полный сказочных опасностей, – но это были материнские опасности, они шли от матери и вели к ней, они были маленьким темным кружком, маленькой грозной пропастью в ее ясных глазах.

В этих мечтах о матери в изобилии всплывали забытые образы детства, в бездонных глубинах расцветали многочисленные маленькие цветы воспоминаний, отливали золотом, благоухали запахами предчувствия, воспоминания об ощущениях детства, то ли пережитых, то ли пригрезившихся. Иногда он грезил о рыбах, черных и серебристых, они подплывали к нему, холодные и скользкие, всплывали в него, проплывали сквозь него, напоминая прекрасные ладьи, несущие счастливые вести из лучшего мира, вильнув хвостом, исчезали, как тень, оставляя вместо вестей новые тайны. Часто ему снились плывущие рыбы и летящие птицы, и каждая рыба или птица была его творением, зависела от него, ими можно было управ-

лять, как своим дыханием, он исторгал их и снова возвращал в себя. Случалось, он грезил о саде, о волшебном саде со сказочными деревьями, необычайно большими цветами и глубокими темно-синими гротами; из травы выглядывали сверкающие глаза неведомых зверей, по ветвям скользили гладкие упругие змеи; на ветках лозы и на кустах влажно поблескивали огромные ягоды, и, когда он срывал их, они набухали в его руке и пускали теплый, как кровь, сок, или же у них оказывались глаза, и они томно и не без лукавства поводили ими; он осторожно прислонился к дереву, хватался рукой за сук, видел и ощущал между стволом и суком густой клубок спутанных курчавых волос, похожих на волосы под мышкой. Однажды ему пригрезился он сам или его святой, Златоуст, Хризостом, у него были золотые уста, и этими золотыми устами он изрекал слова, которые порхали, словно птицы, сбивались в стаи и улетали.

Однажды ему привиделось: он уже большой, взрослый, но сидит, как ребенок, на земле и лепит из глины, как это делают дети, фигурки: лошадку, быка, человечка, маленькую женщину. Это занятие доставляло ему удовольствие, и он приделал животным и человечкам до смешного большие половые органы, в тот момент он находил это очень забавным. Затем он, устав от игры, пошел дальше и почувствовал, что сзади к нему бесшумно приближается что-то живое, оглянулся и с глубоким удивлением и ужасом, но и не без радости увидел, что маленькие глиняные фигурки стали большими и ожили. Огромные немые исполины прошагали мимо него, все увеличиваясь в размерах, и молча пошли дальше, в мир, высокие, словно башни.

В этом призрачном мире он проводил больше времени, чем в мире реальном. Реальный мир – школьный зал, монастырский двор, библиотека, спальня и часовня – был лишь оболочкой, тонкой, подрагивающей пленкой над сверхреальным миром грез и видений. Чтобы проделать дыру в этой тонкой оболочке, достаточно было пустяка – смутного предчувствия, вызванного посреди скучного урока звуками греческого слова, ароматной струи трав из сумки увлекавшегося ботаникой отца Ансельма, взгляда на завитушки листа, прилепившегося к колонне оконной арки. Этих маленьких раздражителей хватало, чтобы оболочка лопнула и за безмятежной, сухой действительностью разверзлись бушующие бездны, потоки и млечные пути мира душевных переживаний. Начальная латинская буква превращалась в благоухающее лицо матери, протяжные звуки молитвы во славу Девы Марии – во врата рая, греческие письмена – в скачущую лошадь или в извивающуюся змею, которая тихо скользила между цветов, исчезала, а на ее месте снова возникала неподвижная страница учебника грамматики.

Редко говорил он об этом, всего только несколько раз намекнул Нарциссу об этом мире грез.

– Я думаю, – сказал он как-то, – цветочный листок или маленький червяк на дороге говорит и значит больше, чем все книги нашей библиотеки. Буквами и словами не выскажешь ничего. Иногда я рисую какую-нибудь греческую букву, тэту или омегу, и стоит мне чуть-чуть повернуть перо, как буква уже виляет хвостом, превращаясь в рыбу, вызывает в памяти все ручьи и реки мира, их прохладу и влагу, океан Гомера и воды, по которым шел апостол Петр, или же буква становится птицей, выставляет хвост, топорщит перья, вся надувается и, смеясь, улетает... Похоже, Нарцисс, ты не очень высокого мнения об этих буквах? Но я говорю тебе: с их помощью Бог создал мир.

– Я о них высокого мнения, – печально произнес Нарцисс. – Это волшебные буквы, с их помощью можно вызвать всех демонов. Правда, для занятий наукой они непригодны. Дух любит все прочное, оформленное, он хочет быть уверенным в своих символах, он любит сущее, а не становящееся, реальное, а не возможное. Он не терпит, когда омега превращается в змею или в птицу. Не в природе живет дух, а только *вопреки* ей, только как ее противоположность. Теперь-то ты веришь мне, Златоуст, что никогда не станешь ученым?

О да, Златоуст давно поверил в это, он был согласен с этим.

– Я больше отнюдь не стремлюсь к вашему духу, – сказал он, едва сдерживая смех. – К духу и учености я отношусь так же, как относился к своему отцу: мне казалось, что я люблю его и ничем от него не отличаюсь, я принимал на веру все, что бы он ни сказал. Но едва вернулась моя мать, едва я узнал, что такое любовь, как образ отца рядом с ее образом вдруг стал маленьким, унылым и почти опротивел мне. И сейчас я склонен к тому, чтобы считать все духовное отцовским началом, противоположным материнскому и враждебным ему, и относиться к нему с несколько меньшим уважением.

Он говорил шутя, но ему не удалось развеять печаль своего друга. Нарцисс смотрел на него молча, и во взгляде его светилась ласка.

– Я хорошо понимаю тебя, – сказал он. – Нам теперь уже не о чем спорить. Ты пробудился и осознал разницу между мной и собой, между душой и духом. Скоро ты, я думаю, поймешь и то, что твоя жизнь в монастыре и твоё стремление стать монахом ошибочны, их придумал твой отец, который хотел этим искупить грехи твоей матери или же отомстить ей. Или ты все еще веришь в свое предназначение – на всю жизнь остаться в монастыре?

Златоуст задумчиво разглядывал руки друга, эти в одно и то же время строгие и нежные, худые и бледные руки. Без сомнения, это были руки аскета и ученого.

– Не знаю, – сказал он певучим, несколько замедленным голосом, растягивая каждый звук; так он стал говорить с недавнего времени. – И в самом деле не знаю. Ты слишком строго судишь о моем отце. Ему довелось много пережить. Но, вероятно, ты и тут прав. В монастырской школе я уже больше трех лет, а он меня ни разу не навещил. Он надеется, что я останусь здесь навсегда. Вероятно, это было бы самое лучшее, ведь я и сам этого всегда желал. Но сегодня я уже не знаю, чего хочу. Раньше это было просто, просто, как буквы в книжке для чтения. Теперь же все стало таким многозначным и многоликим. Я не знаю, что из меня получится, сейчас я не могу думать о таких вещах.

– Тебе и не надо знать, – сказал Нарцисс. – Время покажет, куда ведет твой путь. На этом пути ты начал возвращаться к своей матери и еще больше приблизишься к ней. Что же до твоего отца, то я не сужу о нем слишком строго. Ты хотел бы вернуться к нему?

– Нет, Нарцисс, конечно, нет. Иначе я сделал бы это сразу по окончании школы или уже сейчас. Раз уж я не стану ученым, то хватит с меня латыни, греческого и математики. Нет, возвращаться к отцу я не хочу...

Он задумался, глядя перед собой, и вдруг воскликнул:

– И как это у тебя выходит, что ты говоришь мне слова или задаешь вопросы, которые проникают в душу и объясняют мне меня самого? Вот и сейчас твой вопрос, хочу ли я вернуться к отцу, неожиданно показал мне, что я этого не желаю. Как ты это делаешь? Кажется, тебе ведомо все. Ты рассказал мне кое-что о себе и обо мне, и твои слова я не сразу понял как следует, только потом они стали очень важны для меня! Это ты назвал мое происхождение материнским, ты открыл, что я был в плену чар и забыл свое детство! Откуда ты так хорошо знаешь людей? Не могу ли и я этому научиться?

Нарцисс с улыбкой покачал головой.

– Нет, мой милый, ты не можешь. Есть люди, которым многому могут научиться, но ты к ним не относишься. Ты никогда не будешь книжником. Да тебе это и ни к чему. У тебя другие дарования. Ты одарен больше, чем я, ты богаче меня, но и слабее, твой путь будет прекраснее и тяжелее моего. Иногда ты не хотел меня понимать, часто упрявился, как жеребенок, с тобой было нелегко, и нередко я поневоле причинял тебе боль. Я должен был тебя разбудить, ты ведь спал. И то, что я напомнил тебе о твоей матери, поначалу причинило тебе боль, тебе было очень больно, тебя нашли в крытой галерее без сознания. Так и должно было быть... Нет, не надо меня гладить по волосам, оставь! Я этого не люблю.

– Стало быть, я ничему не могу научиться? И навсегда останусь глупым ребенком?

– Появятся другие, у которых ты станешь учиться. То, чему ты мог научиться у меня, малыш, подошло к концу.

– О нет, – воскликнул Златоуст, – мы не для того становились друзьями! Что за дружба, которая за столь короткое время достигает своей цели и прекращается! Разве я тебе уже надоел? Внушаю тебе отвращение?

Опустив глаза, Нарцисс взволнованно ходил взад-вперед, затем остановился перед другом.

– Оставь, – мягко сказал он, – ты прекрасно знаешь, что не надоел мне.

Он с сомнением оглядел друга, снова принялся ходить взад и вперед, еще раз остановился и твердо посмотрел на Златоуста; худощавое лицо его было суровым. Тихим, но твердым и строгим голосом он сказал:

– Послушай, Златоуст! Мы славно дружили с тобой, у нашей дружбы была цель, теперь она достигнута, ты пробудился от спячки. Надеюсь, на этом дружба не кончится; надеюсь, она опять обновится и будет все время обновляться и вести к новым целям. В настоящий момент цели не видно. Твоя цель неопределенна, и я не могу ни вести, ни сопровождать тебя к ней. Спрашивай свою мать, спрашивай ее образ, прислушивайся к ней! Моя же цель вполне определена, она здесь, в монастыре, она требует меня ежечасно. Я могу быть твоим другом, но не могу любить тебя. Я монах, я дал обет. Прежде чем получить сан священника, я на несколько недель откажусь от преподавательской работы и предамся посту и духовным упражнениям. В это время я не буду говорить о мирском, и с тобой тоже.

Златоуст понял.

– Ты, стало быть, будешь делать то, что и мне пришлось бы делать, вступи я навсегда в орден. А когда ты закончишь свои упражнения, когда достаточно времени отдашь посту, молитвам и бдению – какую цель изберешь ты тогда?

– Ты знаешь, – ответил Нарцисс.

– Ну да. Через несколько лет ты станешь первым учителем, быть может, даже управляющим школой. Ты будешь совершенствовать преподавание, расширишь библиотеку. Быть может, сам будешь писать книги. Нет? Ну ладно. Так какая же у тебя цель?

Нарцисс слабо улыбнулся.

– Цель? Быть может, я умру управляющим школой, настоятелем или епископом. Какая разница. А цель такая: быть всегда там, где я принесу больше пользы, где мой характер, мои качества и дарования найдут лучшую почву, широкое поприще. Другой цели нет.

– У монаха нет другой цели?

– О целей хватает. Монах может поставить себе целью изучить еврейский, откомментировать Аристотеля, украсить монастырскую церковь, объединиться и предаться медитации и сделать сотни других дел. Для меня это не цели. Я не хочу приумножить богатство монастыря или реформировать церковь. Я хочу в доступных мне рамках служить духу, так, как я его понимаю, и ничего более. Разве это не цель?

Златоуст долго обдумывал ответ.

– Ты прав, – сказал он. – Я очень мешал тебе на пути к этой цели?

– Мешал? О Златоуст, никто не помогал мне в этом больше, чем ты. Ты создавал мне трудности, но я не боюсь трудностей. Я на них учился, я их частично преодолел.

Златоуст прервал его и сказал полушутя:

– Ты их замечательно преодолел! Но скажи все-таки: когда ты помогал мне, вел и сопровождал меня и исцелял мою душу – этим ты и впрямь служил духу? Скорее ты лишил монастырь усердного и благонамеренного послушника и, может быть, воспитал противника духовности, который будет делать, думать и приближать нечто противоположное тому, что ты считаешь добром!

– Почему бы и нет? – Нарцисс был сама серьезность. – Друг мой, ты все еще плохо знаешь меня! Я, по-видимому, погубил в тебе монаха, но зато открыл для тебя путь к не совсем обычной судьбе. Даже если ты завтра сожжешь наш славный монастырь или провозгласишь какую-нибудь безумную ересь, я ни на секунду не пожалею, что помог тебе на этом пути.

Ласково положил он обе руки на плечи друга.

– Видишь ли, малыш, моя цель вот еще в чем: кем бы я ни был – учителем или настоящим, духовником или кем-нибудь еще, – встретив на своем пути сильного, талантливого и своенравного человека, мне хотелось бы понять его, раскрыть его возможности, помочь ему стать самим собой. И я говорю тебе: что бы ни стало с тобой или со мной, как бы ни сложились наши дела, я откликнусь в любой момент, как только ты позовешь меня или будешь серьезно во мне нуждаться. В любой момент.

Это походило на прощание, и в словах Нарцисса в самом деле было предвкушение разлуки. Стоя перед другом, разглядывая его решительное лицо, целеустремленный взгляд, Златоуст безошибочно чувствовал, что они теперь не братья и не товарищи, что их пути уже разошлись. Тот, кто стоял перед ним, не был мечтателем и не ждал никаких зовов судьбы; он был монах, он взял на себя обязательства и должен был придерживаться строгого распорядка, он был слуга и солдат ордена, церкви, духа. А он, Златоуст, был здесь чужой, сегодня он ясно осознал это, у него не было родины, его звали неизведанные пути. То же самое было когда-то и с его матерью. Она оставила дом и хозяйство, мужа и ребенка, общину и порядок, отказалась от долга и чести и ушла в неизвестность, где вскоре и нашла свою погибель. Как и у него, у нее не было никакой цели. Иметь цель было дано другим, не ему. О как глубоко Нарцисс уже давно понял это, как он был прав!

Вскоре после этого дня Нарцисс как будто исчез, казалось, он внезапно стал невидим. Другой преподаватель давал его уроки, его место в библиотеке оставалось незанятым. Он был еще здесь, иногда можно было увидеть, как он идет по крытой галерее, услышать, как он бормочет что-то в часовне, преклонив колени на каменном полу; все знали, что он приступил к великому испытанию, что он постится и по три раза за ночь встает для духовных упражнений. Он был еще здесь, но уже как бы перешел в другой мир; его можно было видеть, хотя и довольно редко, но не общаться, не говорить с ним; он обособился от всех. Златоуст знал: Нарцисс снова объявится, снова займет свое место в библиотеке, свой стул в трапезной, снова заговорит – но то, что было, уже не вернется, Нарцисс уже не будет принадлежать ему. Когда он обдумал это, то понял, что только благодаря Нарциссу он ценил и любил монастырь и монашество, грамматику и логику, учение и дух. Он хотел походить на него, Нарцисс был для него идеалом. Правда, был еще и настоятель, его он тоже почитал и любил, видел в нем высокий образец. Но все остальное – преподаватели, школяры, спальня, трапезная, школа, упражнения, богослужения, весь монастырь – без Нарцисса уже не привлекало его. Так что же он делал здесь? Он ждал, он стоял под крышей монастыря подобно нерешительному путнику, который пережидает дождь под каким-нибудь навесом или деревом, – просто чтобы ждать, как гость, из страха перед неприютностью будущего.

Жизнь Златоуста в эти дни была всего лишь промедлением и прощанием. Он навестил все места, которые любил, которые что-то значили для него. Он с удивлением и отчуждением обнаружил, как мало здесь было людей и лиц, с которыми ему было бы тяжело расставаться. Это были Нарцисс и старый настоятель Даниил, а также добрый и славный отец Ансельм, да еще, может быть, любезный привратник и жизнерадостный сосед-мельник – но и они уже стали почти нереальными. Куда тяжелее было расстаться с большой каменной Мадонной в часовне, с апостолами портала. Долго стоял он перед ними, а также перед прекрасной резьбой, перед колодцем в крытой галерее, перед колонной с тремя звериными головами, обнял на прощанье липы во дворе, каштан у входа. Все это когда-нибудь станет его воспоминанием, маленькой книгой образов в его сердце. Уже сейчас, когда он еще был посреди

всего этого, оно стало ускользать от него, терять реальные очертания, превращаться в нечто призрачное, в былое. С отцом Ансельмом, который любил его общество, он ходил собирать травы, с монастырским мельником присматривал за батраками и время от времени соглашался выпить с ними вина и закусить печеной рыбой; но все уже стало чужим и наполовину превратилось в воспоминание. И так же как его друг Нарцисс еще бродил и жил в сумерках церкви и исповедальни, но стал для него тенью, так и все вокруг утрачивало реальность, дышало осенью и брэнностью.

Реальной и живой оставались только его внутренняя жизнь, робкие удары сердца, болезненные уколы тоски, радости и страхи его грез. Им принадлежал он, им отдавал всего себя. Посреди урока, в кругу товарищей он мог погрузиться в себя и забыть обо всем, отдаться на волю потоков и голосов своей души, спуститься в глубины, полные темных мелодий, в красочные бездны, полные сказочных переживаний, голоса которых звучали, как голос матери, тысячи глаз которых были глазами матери.

Глава 6

Однажды отец Ансельм позвал Златоуста в свою аптеку, в келью, полную восхитительных, удивительно ароматных запахов трав. Златоуст знал эту келью как свои пять пальцев. Отец Ансельм показал ему высохшее растение, аккуратно хранимое между двумя листами бумаги, спросил, знает ли он его и может ли подробно описать, как оно выглядит в поле. Да, Златоуст мог: растение называлось зверобой. Он четко описал все его приметы. Старый монах был доволен и дал своему юному другу задание собрать после обеда изрядный пучок таких растений, указав излюбленные места их произрастания.

– За это ты будешь освобожден от послеобеденных занятий, мой милый, ты останешься доволен и ничего не потеряешь. Ведь знание природы – тоже наука, а не только ваша глупая грамматика.

Златоуст поблагодарил за очень приятное поручение – собирать несколько часов цветы лучше, чем сидеть в школе. Для полноты счастья он выпросил у конюха Звездочку, вскоре после обеда забрал из конюшни лошадь, которая радостно его приветствовала, вскочил на нее и, довольный, потрусил навстречу теплomu, светлomu дню. Час, а то и больше катался он верхом, наслаждаясь воздухом, полевыми запахами, но прежде всего верховой ездой, затем вспомнил о своем поручении и разыскал одно из мест, указанных отцом Ансельмом. Привязав лошадь под тенистым кленом, он поговорил с ней, дал ей хлеба и отправился на поиски зверобоя. Тут было несколько наделов пахотной земли, заросших сорной травой; посреди засохших усиков вики, небесно-голубых цветов цикория и отцветшей гречихи поднимались маленькие редкие маки с последними бледными бутонами и уже многочисленными спелыми семенными коробочками; между двумя участками валялись кучи полевых камней, обжитых ящерицами, были здесь и кустики зверобоя, усыпанные первыми желтоватыми цветками, и Златоуст начал их собирать. Набрал хороший пучок зверобоя, он присел на камень, чтобы отдохнуть. Было жарко, и он с вожделием взглянул на густую сень далекой лесной опушки, но не захотел так далеко уходить от растений и от лошади, которая видна была с этого места. Он остался сидеть на теплых камнях, затаившись, чтобы увидеть, как возвращаются разбежавшиеся ящерицы, вдыхал аромат зверобоя и поднимал его маленькие листочки на свет, разглядывая внутри них сотни крохотных точек.

Поразительно, думал он, в каждом из тысяч маленьких листочков выколото крохотное звездное небо, тонкое, как вышивка. Поразительно и неправдоподобно было все – ящерицы, растения, даже камни, все без исключения. Отец Ансельм, который так любит его, уже не мог самостоятельно собирать свой зверобой, у него что-то случилось с ногами, в иные дни он не мог двигаться, все его врачебное искусство не могло его исцелить. Быть может, он скоро умрет, и травы в его келье будут благоухать по-прежнему, а старого патера уже больше не будет на свете. А может, он проживет еще долго, десять или двадцать лет, и у него будут все такие же жидкие седые волосы и все те же забавные пучки морщинок вокруг глаз. А что будет через двадцать лет с ним самим, со Златоустом? Ах, все так непонятно и, в сущности, грустно, хотя и прекрасно. Живешь и ничего не знаешь. Ходишь по земле или едешь верхом по лесам, и многое кажется тебе вызывающим и многообещающим, пробуждает тоску: вечерняя звезда, синий колокольчик, поросшее зеленым тростником озеро, глаза человека или коровы, а иногда кажется, что вот случится что-то невиданное, но давно желанное, со всего спадет пелена; но затем все проходило, и ничего не случалось, загадка оставалась неразгаданной, тайные чары не рассеивались, и в конце концов ты состаришься и будешь таким же лукавым, как отец Ансельм, или таким же мудрым, как настоятель Даниил, и, вероятно, все еще не будешь знать ничего, все еще будешь ждать и прислушиваться.

Он поднял пустую раковину улитки, она нагрелась на солнце и еле слышно зазвенела, задев за камень. Он задумчиво разглядывал узоры ракушки, спиралевидные насечки, причудливо повторяющиеся изгибы венчика, пустой зев, отливающий перламутром. Он закрыл глаза, чтобы ощупать формы чуткими пальцами, это была его старая привычка и игра. Поворачивая раковину пальцами раскрытой ладони, он без нажима, ласково ощупывал ее формы, поражаясь чуду природы, волшебству материального мира. Вот он, один из недостатков школы и учености, мечтательно думал он; казалось, одной из тенденций духа было видеть и изображать все так, будто оно было плоским и имело всего два измерения. Ему показалось, что этим он обозначил изъян и неполноценность самой сути рассудка, но он не сумел удержать мысль, раковина выскользнула из его пальцев, он почувствовал усталость и сонливость. Склонив голову на свои травы, которые, увядая, пахли все сильнее, он заснул на солнце. По его башмакам бегали ящерицы, на коленях у него увядали растения, под кленом нетерпеливо ждала Звездочка.

От далекого леса кто-то приближался, молодая женщина в синей выцветшей юбке, черные волосы повязаны красной косынкой, лицо загорело на летнем солнце. Женщина подошла ближе, в руках у нее был сверток, во рту она держала ярко-красную гвоздику. Увидев спящего, она долго наблюдала за ним издали, недоверчиво и с любопытством, убедившись, что он спит, подошла ближе, осторожно ступая босыми загорелыми ногами, остановилась перед Златоустом и посмотрела на него. Недоверчивость улетучилась, красивый спящий юноша был не опасен, он скорее понравился ей – как он попал на эти невозделанные поля? А собирал цветы, обнаружила она с улыбкой, они уже увяли.

Златоуст открыл глаза, возвращаясь из чащи своих грез. Голова покоилась на чем-то мягком, она лежала на коленях женщины, в его удивленные глаза смотрели в упор чужие глаза, теплые и карие. Он не испугался, опасности не было, теплые карие звезды, казалось, излучали приветливость. Женщина улыбнулась в ответ на его удивленный взгляд, улыбнулась очень приветливо, и он тоже начал потихоньку улыбаться. К его улыбающимся губам приникли ее губы, они слились в сладком поцелуе, и Златоуст тут же вспомнил вечер в деревне и девушку с косичками. Но поцелуй еще не закончился. Женские губы не торопились расставаться с его губами, заигрывали с ними, дразнили и манили; наконец она сильно и жадно впиалась в его губы, горяча кровь и воспламеняя его. В долгой немой игре загорелая женщина отдалась юноше, мягко обучая его, позволяя искать и находить, распаяя его и утоляя пыл. Восхитительное короткое блаженство любви всколыхнуло его, вспыхнуло золотым огнем, ослабело и погасло. Он лежал с закрытыми глазами, прижавшись лицом к груди женщины. Они не сказали друг другу ни слова. Пока он приходил в себя, женщина не шевелилась и только ласково гладила его по волосам. Наконец он открыл глаза.

– Ты, – вымолвил он. – Ты! Кто же ты?

– Я Лиза.

– Лиза, – повторил он, как бы пробуя имя на вкус. – Лиза, ты чудо.

Она наклонилась к самому его уху и прошептала:

– Так это было в первый раз? Ты еще никого не любил?

Он покачал головой. Вдруг он выпрямился, огляделся, посмотрел на поле и небо.

– О, – воскликнул он, – солнце уже совсем низко. Мне пора возвращаться.

– Куда же?

– В монастырь, к отцу Ансельму.

– В Мариабронн? Так ты оттуда? Тебе не хочется побыть со мной еще?

– Хочется.

– Так оставайся.

– Нет, так нельзя. Мне нужно собрать еще побольше трав.

– Разве ты из монастыря?

– Да, я учусь в школе. Но я там больше не останусь. Можно, я приду к тебе, Лиза? Где ты живешь, где твой дом?

– Нигде не живу, мое сокровище. Ты не хочешь сказать, как тебя зовут?.. Ах, тебя зовут Златоуст. Поцелуй меня еще раз, Златоустик, и можешь идти.

– Ты нигде не живешь? Где же ты спишь?

– Если хочешь, то в лесу или в копне сена. Придешь сегодня ночью?

– О да. Но куда? Где я найду тебя?

– Ты можешь кричать, как сова?

– Никогда не пробовал.

– Попробуй.

Он попробовал. Она засмеялась и осталась довольна.

– Тогда выйди сегодня ночью из монастыря и покричи, как сова, я буду поблизости.

Нравлюсь я тебе, Златоуст, мой мальчик?

– Ах, ты мне очень нравишься, Лиза. Я приду. Храни тебя Бог, а мне пора.

На разгоряченной лошади Златоуст в сумерках вернулся в монастырь и был рад, найдя отца Ансельма чрезвычайно занятым. Кто-то из монахов купался в ручье и проколол ногу.

Теперь пришла пора навестить Нарцисса. Он спросил о нем одного из братьев, что прислуживали в трапезной. Нет, ответил тот, Нарцисс не придет к ужину, он постится и уже, вероятно, спит, так как ему предстоят ночные бдения. Златоуст поспешил к нему. Во время долгих духовных упражнений его друг спал в одной из келий для кающихся во внутреннем здании. Не раздумывая, он бросился туда. Прислушался, но за дверью была тишина. Он неслышно вошел. Это было строго запрещено, но сейчас не имело значения.

Нарцисс лежал на узких нарах, в сумерках он походил на мертвеца, неподвижно лежа на спине, с бледным заострившимся лицом и скрещенными на груди руками. Но глаза его были открыты, он не спал. Молча взглянул он на Златоуста, ни в чем не упрекнул его, но и не пошевелился, очевидно, он настолько погрузился в другое время и другой мир, что ему трудно было узнать друга и понять его слова.

– Нарцисс! Прости, прости, милый, что потревожил тебя, это не просто шалость. Я знаю, что сейчас ты не должен разговаривать со мной, но сделай это, очень прошу тебя.

Нарцисс пришел в себя и на какое-то мгновение резко зажмурился, будто с трудом стряхивая сон.

– Это необходимо? – спросил он едва слышно.

– Да, необходимо. Я пришел, чтобы проститься с тобой.

– В таком случае необходимо. Просто так ты бы не пришел. Проходи, садись рядом. Через четверть часа начинается первая вегилия.

Он выпрямился и сел на голых нарах; Златоуст присел рядом с ним.

– Прости меня! – сказал он виновато. Келья, голые нары, строгое, напряженное лицо Нарцисса, его полуотсутствующий взгляд – все ясно говорило Златоусту, насколько он здесь некстати.

– Не стоит извинений. Не обращай на меня внимания, со мной все в порядке. Так ты говоришь, что пришел проститься? Стало быть, ты уходишь?

– Да, уже сегодня. Ах, мне трудно тебе рассказать. Все решилось так внезапно.

– Приехал твой отец или ты получил весточку от него?

– Да нет же. Сама жизнь явилась ко мне. Я ухожу без отца, без разрешения. Послушай, убежав, я навлеку на тебя позор.

Опустив голову, Нарцисс смотрел на свои длинные белые пальцы, тонкие, как у привидения, они выглядывали из широких рукавов рясы. На его строгом, очень усталом лице не было улыбки, она почудилась в голосе, когда он произнес:

– У нас очень мало времени, милый. Скажи мне только самое необходимое, коротко и ясно. Или, может, мне сказать, что с тобой произошло?

– Скажи, – попросил Златоуст.

– Ты влюбился, малыш, ты познал женщину.

– Как ты узнал об этом?

– Ты сам облегчил мою задачу. Твое состояние, друже, отмечено всеми признаками того опьянения, которое называется влюбленностью. А теперь говори, прошу тебя.

Златоуст робко положил руку на плечо друга.

– Ты уже сказал. Но на сей раз сказал нехорошо, неправильно. Все было совсем не так. Я был в поле за монастырем, заснул на жаре, а когда проснулся, моя голова лежала на коленях красивой женщины, и я сразу почувствовал, что это пришла моя мать, чтобы взять меня к себе. Нет, я не считал эту женщину своей матерью, у нее были темно-карие глаза и черные волосы, моя мать была белокурой, как и я, и выглядела совсем не так. И все же это была она, это был ее зов, весточка от нее. Словно из грез моего собственного сердца возникла вдруг красивая чужая женщина, положила мою голову к себе на колени, улыбнулась мне, как цветок, и была ласкова со мной; уже во время первого ее поцелуя я ощутил, как что-то плавится во мне и причиняет странную боль. Все желания, когда-либо испытанные мной, все мечты, все сладостные страхи, все тайны, дремавшие во мне, разом проснулись, все преобразилось, обрело очарование и смысл. Она показала мне, что такое женщина и какие у нее есть тайны. За эти полчаса, проведенные с ней, я стал на много лет старше. Теперь я много знаю. Совершенно неожиданно мне стало ясно и то, что я не останусь больше в монастыре ни на один день. Я уйду, как только наступит ночь.

Нарцисс слушал и кивал.

– Все случилось внезапно, – сказал он, – но это примерно то, чего я ожидал. Я буду много о тебе думать. Мне будет тебя недоставать, друже. Могу я что-нибудь для тебя сделать?

– Если сможешь, скажи несколько слов нашему настоятелю, чтобы он не проклял меня окончательно. Он здесь единственный, кроме тебя, чьи суждения обо мне для меня небезразличны. Он и ты.

– Я знаю... Есть еще просьбы?

– Да, еще одна. Когда будешь позже вспоминать обо мне, помолись за меня! И... спасибо тебе.

– За что, Златоуст?

– За твою дружбу, за твоё терпение, за все. И за то, что согласился сегодня выслушать меня, хотя это для тебя нелегко. И за то, что не пытаешься меня удержать.

– С какой стати мне тебя удерживать? Ты же знаешь, что я об этом думаю... Но куда ты пойдешь, Златоуст? Есть ли у тебя какая-нибудь цель? Ты идешь к той женщине?

– Да, я уйду к ней. Цели у меня нет. Она чужая, кажется, бездомная и, судя по всему, цыганка.

– Ну ладно. Но скажи, милый, известно ли тебе, что твой путь с ней, скорее всего, будет очень коротким? Мне кажется, тебе не следует слишком на нее полагаться. У нее могут оказаться родственники или муж; кто знает, как там тебя примут.

Златоуст прильнул к другу.

– Я знаю, хотя пока еще не думал об этом. Я уже говорил тебе: цели у меня нет. Я уйду к ней, но не из-за нее. Я уйду, потому что пришла пора, потому что слышу зов.

Он умолк и вздохнул, они сидели, прижавшись друг к другу, грустные и все-таки счастливые своей несокрушимой дружбой.

– Не думай, что я совсем ослеп и ни о чем не догадываюсь, – продолжал Златоуст. – Нет. Я уйду с радостью, ибо чувствую, что так и должно быть, и потому, что сегодня я изведal нечто чудесное. Но я не думаю, что меня ждут сплошные удовольствия и счастье. Я

думаю, мой путь будет трудным. Но я надеюсь, что и прекрасным. Как хорошо принадлежать женщине, отдаваться ей! Не смейся надо мной, если то, что я говорю, звучит глупо. Видишь ли, любить женщину, отдавать себя ей, погружаться в нее и чувствовать, как она погружается в тебя, – это не то, что ты называешь влюбленностью и над чем посмеиваешься. Смеяться тут не над чем. Для меня это путь к жизни и путь к смыслу жизни... Ах, Нарцисс, я должен с тобой расстаться! Я люблю тебя, Нарцисс, и благодарен тебе, что сегодня ты пожертвовал для меня своим сном. Мне нелегко уходить от тебя. Ты меня не забудешь?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.